
Хроники последней эпохи
Пархомов Дмитрий Александрович
СОДЕРЖИТ НЕЦЕНЗУРНУЮ БРАНЬ
18+

Дмитрий Пархомов

Хроники Последней Эпохи

Серия «Хроники Последней Эпохи», книга 6

https://litres.ru/73753424
SelfPub; 2026

Аннотация

В мире, где Бог молчит, один человек решил кричать громче ада.

Рок вместо молитв, кровь на струнах, дочь, которую он не спас.

Теперь он ведёт миллионы в другой мир чтобы доказать, что даже в тишине можно быть услышанным.

Но что, если ответ придёт слишком поздно?

«Хроники Последней Эпохи. Полное собрание (все 6 книг)

Все книги серии доступны бесплатно по отдельности.

Эта версия — платное полное собрание в одном томе + аудиокнига.

Если хотите поддержать автора — можете купить данную электронную версию за 200 рублей или оформить подписку в литресс.

Также доступен заказ бумажной книги в твёрдом переплёте с качественной обложкой.

Спасибо тем, кто решил поддержать.»

Содержание

Красная пыль	4
Амина и её муж.	8
Открытие Блэка	17
Воспоминание: Спутники над белым мрамором	21
Внутренняя война	24
Апокалипсис в Сиднее	34
Воспоминание: Мир не реален?	50
Великое путешествие	52
Воспоминание: Эфиопия	72
Дорога горя	74
Врата Дарвина	89
Металл в часовне	98
Первая Гитара	102
Чёрный винил	105
Нищета	109
Улица	116
Гром на Синае	129
Сан, ставший кровью на струнах	133
Красное платье и гром в сердце	137
Красное платье в ночи	141
Три года грома и колыбельной	145
Конец ознакомительного фрагмента.	146

Дмитрий Пархомов
Хроники Последней Эпохи

Красная пыль
Начало новой жизни

Жара ударила в лицо, как кулак старого врага — влажная, липкая, пропитанная солью и гнилью. Аэропорт Дарвина встретил насмешкой: +39, влажность такая, что одежда становится второй кожей, которую хочется содрать. Здесь воздух дрожит в лихорадке, манго гниют на деревьях, океан шепчет ложь, обещая прохладу, которой нет.

Александр Иванович Чуйков вышел из терминала, таща потрёпанный чемодан. Тридцать четыре года, наголо стриженная голова, густая чёрная борода. Тело — тяжёлый мускул, с жирностью уровня сметаны, выкованный в подвалах и на улицах. Мастер рукопашного без оружия. Это спасало, когда в туркменских переулках вопросы решались быстро и тихо.

Предки — польские евреи из Винницы. Прадед расстрелян в 1937-м. Прабабку с детьми сослали в Ашхабад. Он сам сменил Аарон на Александр, Иосифовича на Ивановича, Чайка на Чуйков. Скрывали, ассимилировались, забыли

идиш. Он всегда считал себя русским — это не обижало, это было выживанием.

В Ашхабаде всё стало невыносимо к 2016-му. Бежать пришлось по фальшивым бумагам. После того как пришли за родителями. Жена… три года после знакомства, свадьба, беременность — и рак. Пепел в урне — единственное, что он забрал.

Теперь — Дарвин. Комната над китайским рестораном. Работу нашёл сразу: старый «Лэнд Крузер», таксист-нелегал. Спортзал — его храм. Жмёт двести двадцать от груди, тянет триста пятьдесят в становой. Парни вокруг переглядываются, он молчит.

Первая ночь — бессонная. Вспоминает Ашхабад: пыль скрипит под ногами, ветер несёт жару и страх. Здесь жара другая — липкая, живая.

Утром — первый клиент. Пьяный австралиец достаёт ржавый нож.

— Деньги давай, русский, вам здесь не рады.

Руки сами находят запястье — хруст. Нож падает. Клиент воет и вываливается наружу, крича: «Ты не человек!»

Александр сидит неподвижно, смотрит на упавший нож. Курит первую за день. Жара снаружи, холод внутри.

Вечером он заходит в русский магазин. Полки: сгущёнка, солёные огурцы, гречка, чёрный хлеб, мороженое и конфеты. Запах дома, которого больше нет.

За прилавком — Ольга, сорок пять, из Казахстана, десять

лет здесь с мужем Иваном. Усталые глаза, но улыбка пережила худшие зимы.

Она узнаёт его по акценту.

— Новенький? — спрашивает тихо.

Он кивает. Берёт десять литров молока и пять банок сгущёнки.

Они разговаривают. Не долго. Но впервые за много лет кто-то смотрит ему в глаза и не отводит взгляд.

Ольга говорит о степи, о снеге, которого здесь нет. О том, как они с Ваней приехали «за лучшей жизнью», а получили ту же самую бедность и ностальгию.

Он слушает. И вдруг понимает: она тоже бежала. Не от режима — от жизни, которая варила их медленно, словно лягушку. Разница лишь в том, что Ольга успела выпрыгнуть из той жизни. Несмотря на то, что она каждый день скучает о друзьях и доме, в котором выросла.

В узком проходе между ящиками гречки и молока мелькает маленькая тень. Мальчишка лет девяти, худой, в слишком большой куртке. Смотрит на банки сгущёнки так, будто внутри спрятано что-то потерянное.

— Внук сестры, — тихо говорит Ольга. — Руслан. Привезли полгода назад. Молчит почти всё время. Только на покупателей смотрит.

Александр берёт банку сгущёнки и рассматривает. Тихо присел на деревянный самодельный стул из дуба.

— Держись, новенький, — говорит Ольга. — Здесь с од-

ной стороны как дома, а с другой, всё совершенно чужое. Именно поэтому мы стараемся держаться вместе.

Он кивает. Берёт пакеты. Выходит, в ночь.

Амина и её муж.

Утро в Дарвине — не рассвет, а медленный удар под дых. Солнце вылезает из-за горизонта, как палач в паровом плаще, и сразу бьёт: +42 уже в восемь утра. Асфальт плавится под колёсами старенького «Лэнд Крузера», воздух дрожит, искажая горизонт. Машина рычит низко, недовольно — её тоже заправляют не самым лучшим бензином.

Клиенты садятся и выходят: мигранты с глазами, выжженными бессонницей, туристы в шортах, что липнут к бёдрам, местные с лицами цвета старой меди. Все жалуются на жару. Но настоящая жара — внутри Александра, где два голоса дерутся насмерть: один шипит «возьми больше, покажи им», другой жжёт грудь раскалённым гвоздём: «держись, не ломайся».

Вечер. Перерыв. Он сидит в машине на обочине, ест сгущёнку ложкой прямо из банки — густая, сладкая, как детство, которого почти не помнит. Запивает молоком из пластиковой бутылки — холодным, пока не нагрелось. Курит, смотрит на океан, думая о чём-то своём.

Радио шипит:

«…в Индии число случаев неизвестной лихорадки растёт. Жар, слабость, покраснение глаз, агрессия. Врачи не называют причину…»

Он выключает. Тишина давит сильнее.

И тут она приходит — Амина. Тридцать два. Из Казахстана. Глаза тёмные, как степная ночь без луны. Садится сзади, дверь хлопает тихо, но отдаётся в груди эхом. Голос спокойный, но с той сталью, что появляется у женщины, которая уже хоронила надежду — и всё равно не сдалась.

— Куда едем?

— Не такси. Помощь нужна. Муж пропал.

Александр ловит её взгляд в зеркале. Усталое лицо, но глаза горят — ещё не потухли.

— Последний раз звонил: «Глаза краснеют по ночам, прям как в тех сообщениях из Индии». Шахта в пустыне. Пять часов отсюда.

Он выруливает на трассу медленно, будто даёт себе время подумать.

— Почему ко мне?

Амина выдыхает, смотрит в окно — пыль за машиной вьётся красным хвостом.

— Потому что ты не отводишь глаза. Видела тебя в зале — плечи… как двуспальная кровать. Ты жмёшь штангу, будто хочешь поднять всё на свете. Но когда закончил — не хвастался, не фоткался и не орал. Просто ушёл. Я подумала: этот человек возможно и сможет мне помочь. А мне нужно, чтобы кто-то защищал меня, пока я ищу его.

Она трогает кольцо на пальце — тонкое, простое, без камня. Пальцы дрожат чуть.

— У меня была сестра. Айгуль. Шестнадцать лет. Лейкемия. В больнице сказали: очередь на облучение — три года. Три года! Мы носили ей передачи, держали за руку. А потом она просто… ушла. Тихо. Не дождавшись помощи. Я стояла у окна и думала: «Если бы я больше проводила с ней времени— она бы осталась». С тех пор я каждый день думаю о ней. И боюсь потерять. Мужа. Друзей. Всех.

Александр сжимает руль. Костяшки белеют.

— У меня тоже… — начинает он и замолкает. Потом тише: — Родителей забрали. Репрессии. Смелые были, честные — поэтому и не молчали. Пропали. Навсегда. Жена была беременна, но рак забрал их. Три года прошло. Пепел в урне, но в голове, постоянно.

Амина поворачивается чуть, смотрит сбоку. Голос дрогнул — еле заметно.

— У нас в Казахстане… тоже. Шахты, степь. Люди исчезают. Муж… он добрый был. Пил иногда — но любил. Говорил: «Амина, заживём. Нет степи — океан будет». А океан… всё одно. Он звонил: «Амина… глаза краснеют. Внутри что-то… шепчет». Потом — тишина. Полиция: «Напился, ушёл в пустыню». А я знаю: что не мог. Что-то его забрало. И я не отпущу. Не могу. Если отпущу — останусь одна.

Александр молчит. Мили две — только гул мотора и пыль за окном.

— Возьмусь. За пару тысяч долларов. Если твой муж там, во тьме — вытащу. Но знай: не факт, что получится.

Амина смотрит на него прямо.

— Лучше надежда… чем ничего. Но я верю что всё получится.

Они едут молча. Ночь падает быстро, как занавес. Шахта — тёмная пасть, огни мигают тускло. Муж Амины выходит сам — шатается, бледный, глаза красные от пыли, усталости, чего-то ещё. Шепчет бессвязно. Александр выходит, берёт под локоть — без лишних слов, просто помогает сесть. Амина плачет тихо, обнимает — крепко, будто боится, что отпустит и потеряет навсегда.

— Спасибо… — шепчет она, не отрываясь от мужа. — Но это… не конец. Ещё пропадают. Мигранты. Местные. Помоги… пожалуйста.

Он кивает.

Магазин Ольги

Магазин Ольги — последний островок дома на этой красной и далёкой земле. Полки наполнены, но банки сгущёнки покрыты тонкой пылью, гречка в мешках прогоркла. Свет горит тускло, лампочка мигает, как больное сердце старого животного. Ольга сидит за прилавком. Руки на коленях, фартук в муке и крови. Кровь — свежая, из уголка рта и носа. Глаза красные, прожилки ползут от краёв к зрачку, как трещины по стеклу.

Александр входит. Дверь скрипит. Колокольчик над ней давно молчит — сломался, или просто забился пылью.

— Ольга.

Она поднимает голову медленно, будто шея весит тонну.

— За молоком пришёл? — голос хриплый, кашель подкатывает, она давит его платком. Платок уже красный в пятнах.

Он ставит огромную руку на прилавок. Она смотрит на неё, потом ему в глаза, смотрит как на старого друга, которого больше не увидит.

— Бери, — говорит она. —Всё что осталось. Остальное пропало из-за этой странной красной пыли. Люди не приходят. Ходят что-то бубнят себе под нос. Некоторые уже не могут даже ходить.

Александр оглядывается. Полки полупустые. В углу — холодильник с молоком, кефиром и творогом. Он берёт всего по немногу и кладёт в корзину, а одну бутылку молока берёт в руку — холодную ещё, но уже теплеющую от прикосновений.

— Иван умер, — повторяет она тихо, всхлипывая. — Утром. Лежал, смотрел вверх. Шептал: «Оно пришло. Из-под земли». Потом замолчал. Глаза красные, открытые. Не закрывались. Я пыталась… пальцами. Не смогла.

Она кашляет. Кровь на губах. Вытирает рукавом — движение привычное, усталое.

— Я тоже слышу, — говорит она. — Ночью. Шёпот. Разобрать не могу— словно звук, как песок по стеклу. Говорит: «Бери. Не отдавай». А потом жар в груди. Будто печку внутри разожгли. Просыпаюсь — глаза болят. Смотрю в зеркало

— красные. Как у него.

Александр молчит. Садится напротив на старый стул — скрипит, как кости.

— Дома… в Казахстане… — шепчет она, голос дрожит. — Снег падал. Белый. Чистый. Иван говорил: «Ольга, снег — это забвение. Покрывает всё дерьмо». Мы ели хлеб с солью в девяностых. Выжили. А здесь… снег не падает. Только пыль. Красная. Она въедается. В этом году как-то по-особенному.

Она берёт банку сгущёнки — последнюю свою. Открывает ножом — рука дрожит, нож скользит по металлу и случайно царапает её. Ложка в руке — ест медленно, не чувствуя вкуса.

— Помнишь, как мы говорили? — спрашивает она. — Ты рассказывал об Ашхабаде и репрессиях, о любимой жене и раке, о родителях что были слишком смелыми для беломраморного ада. А я пекла пирожки с капустой, слушала тебя, ужасалась. Клиенты брали, улыбались моей стрепне. Говорили «экзотика». А для меня — нить. Последняя. Наверное я больше не буду их печь.

Она кашляет снова. Кровь капает на фартук — яркая точка на белом.

— Нить порвалась, — говорит она. — Иван ушёл. Теперь я слышу. Шёпот громче. Говорит: «Ты слабее. Отдай». А я… держусь. За память о нём. За то, что осталось от меня самой.

В узком проходе между ящиками гречки и молока мелькнула

нула тень. Руслан — худой, в слишком большой куртке, смотрит на банки сгущёнки так же, как когда-то смотрел Александр — будто внутри спрятано что-то потерянное.

Ольга заметила взгляд Александра.

— Руслан. Ты его помнишь.

Мальчик подошёл ближе. Взял банку в руки — маленькие пальцы едва обхватывали.

— А ты тоже потерял маму? — спросил он вдруг, не поднимая глаз. Голос тихий, но взрослый. — Ольга говорит — все теряют.

Александр замер. В груди что-то сжалось —эхо прошлого, что стало частью его ежедневных мыслей.

— Да, — ответил он коротко. — Потерял.

Руслан поставил банку обратно. Посмотрел прямо — глаза тёмные, но уже с красноватой каймой.

— Мама говорила: внутри сладкое, даже если снаружи грязно. Поэтому я каждый день её ем. Если перестать — испортится. Как всё тут.

Он отвернулся. Пыль осела на его куртке — тонким серым слоем.

Ольга вернулась из глубины своих мыслей. Пустая банка стояла перед ней. Ложка в руке дрожала.

— Мы выбрали океан, — прошептала она. — А он оказался таким же, как степь. Только солёный и без снега. Наверное мы бежали от себя, а от себя сложно сбежать.

Она посмотрела на Александра. В глазах — усталость.

Глубокая, как пустыня Каракум, что осталась за спиной.

— Держись за свои ритуалы, новенький. Пока они есть, ты живёшь. Пока не так как хочешь, но хотя бы не просто воспоминаниями и сожалением.

Александр смотрит на свои руки. Пыль на ладонях — красная, липкая, хотя недавно мыл руки. Глаза щиплет. Не сильно. Появился жар внутри — лёгкий, как будто кто-то поджёг спичку в груди, и она тлеет.

— Ты тоже услышишь, — шепчет она. — Скоро. Когда пыль в венах. Когда глаза покраснеют. Когда шёпот станет твоим голосом.

Он встаёт. Берёт банку молока, банку сгущёнки — последнюю.

— Держись, Ольга. Соболезную тебе! Он был хорошим человеком.

Она улыбается — еле заметно, сквозь слёзы, уголком рта.

— Держусь. Пока плохо выходит, но держусь.

Александр уходит. Дверь скрипит. На улице — Дарвин умирает. Люди лежат на тротуарах — некоторые на коленях, глаза красные, шепчут. Кашель везде — сухой, надрывный. Сирены вдалеке, как вой. Пыль густая, как дым или туман, застилает фонари.

Александр садится в машину. Открывает молоко. Пьёт. Холод на миг прогоняет жар. Но внутри уже жжёт сильнее — спичка превратилась в огонь.

Голос толкает: «Возьми. Не отдавай». Другой: «Держись.

Пока можешь».

Он заводит мотор. Пыль скрипит под колёсами. Шёпот из-под земли теперь везде. Внутри него тоже.

Открытие Блэка

Клиника на окраине Дарвина — бетонный короб, кондиционер мёртв, воздух внутри густой, как кровь при такой погоде. Доктор Блэк стоит у стола, спина согнута, руки в перчатках дрожат над микроскопом. Седые волосы слиплись от пота, глаза красные — прожилки уже ползут к зрачку. Он кашляет сухо и надрывно, платок в кулаке становится алым.

Александр входит без стука. Дверь скрипит, как кости. Блэк не оборачивается сразу. Только когда кашель утихает, поднимает голову.

— Чуйков. Ты как раз вовремя…. Садись.

Голос хриплый, но твёрдый. Он кивает на стул напротив.

Александр садится. На столе — пробирки с красной слизью, мазки крови, фото под лампой: глаза, открытые, красные, пустые.

Блэк тычет пальцем в микроскоп.

— Взгляни-ка сам. Эта пыль из шахты — не просто пыль. Она живая. Нити, которые шевелятся. Просачиваются в кровь за считанные часы, в мозг — за сутки. И… начинаются неврологические изменения. Я думаю эта та дрянь из Индии, про которую всё время передают по радио.

Александр наклоняется. В окуляре — красные волокна, пульсируют, как вены.

— Этот шёпот, — бормочет Блэк. — Все твердят одно:

«Бери. Не отдавай». Сначала жар в груди. Потом краснеют глаза. Кашель с кровью. Затем стадия замирания — стоят на коленях, вслушиваются в землю. Умирают через 48 часов после первого неврологического приступа шёпота. Я вскрывал тела: лёгкие забиты красной пылью, мозг воспалён, но это не вирус и не бактерия. Что-то другое, это меня пугает. Как будто существо с далёких звёзд или древних времён.

Он кашляет снова. Кровь капает на стол. Блэк вытирает рукавом, не морщась.

— Я и сам слышу его с утра. Тихо пока: «Бери больше». «Ты сильнее». Держусь из последних сил. Ампулы с адреналином и стероидами глушат жар на день-два, но не лечат — только оттягивают неизбежное.

Александр смотрит на него. Блэк вдруг хватает его за запястье — сильно, неожиданно.

— У тебя оно уже началось. Пульс за 120. Глаза краснеют. Когда начал кашлять кровью?

Александр вырывает руку. Кашляет в кулак — кровь на ладони.

— Сегодня.

Блэк кивает, словно ждал этого.

— Тогда слушай внимательно. Это не обычная болезнь. Красная пыль — это древняя болезнь, в свитках Мёртвого моря о ней много информации. Именно из-за неё Бог начал потоп. Местные говорят о духах, что проверяют людей. Но духи не шепчут «бери». Это голод. Жажда контроля. Власть

над собой и другими. Пыль будит то, что таится внутри: страх, жадность, желание захватить всё.

Он достаёт из ящика шприц и ампулу — прозрачная жидкость.

— Мой последний запас. Адреналин плюс что-то из старых запасов ВОЗ. Глушит шёпот на 12–24 часа. Бери. Но помни: когда шёпот перекричит твой собственный голос, ты не остановишься. Станешь одним из них.

Александр берёт ампулу. Холодная в ладони.

— Сколько тебе осталось?

Блэк усмехается.

— Час, может, два. Шёпот уже громче: «Не отдавай». А я отдаю — всё, что знаю. Я двадцать лет лечил здесь местных, мигрантов, шахтёров, туристов. Думал, жара — это всё. А потом стали приходить с красными глазами. Сначала думал — конъюнктивит. Потом — перегрев. Потом… стал вскрывать. И понял: я не справлюсь. Плюс оно использует меня, чтобы распространяться дальше. Я был врачом. Теперь я — просто носитель.

Он кашляет сильно, надсадно. Кровь брызжет на стол. Блэк падает на колени, глаза краснеют на глазах. Шепчет:

— Бери… не отдавай…

Александр стоит. Голос внутри орёт: «Возьми клинику. Возьми его. Контроль!». Другой режет: «Беги. Пока не поздно».

Он выходит. Дверь хлопает. На улице — красная земля.

Тени лежат на тротуарах: люди на коленях, шепчут в унисон. Один поднимает голову — глаза открытые, красные.

— Бери… — шепчет он.

Александр идёт к машине. Ампула в кармане. Молоко на сиденье теплеет. Он колет себе в бедро. Жар отступает на миг. Но шёпот остаётся. Громче. Тени в красной земле шевелятся.

Воспоминание: Спутники над белым мрамором

Ашхабад, лето 1998-го. Саше десять лет.

Город белый, как будто кто-то разлил молоко по всей земле и забыл вытереть. Мрамор блестит на солнце так, что глаза болят. Дворцы, школы, даже остановки — всё в белом. На каждом углу — золотая статуя Туркменбаши. Она поворачивается вслед за солнцем, всегда лицом к свету, будто следит, чтобы никто не отвернулся. Саша каждый раз, проходя мимо, опускает глаза. Так все делают.

Мама говорит: «Не смотри долго, Аронька. Глаза испортишь». Но Саша знает — не от солнца. От того, что, если смотреть в глаза статуе, кажется, она видит, что ты думаешь. А думать плохо нельзя.

На крышах — тарелки. Спутниковые антенны. Их так много, что небо над Ашхабадом похоже на город из железных цветов. Сотни, тысячи тарелок смотрят вверх, ловят сигналы из космоса. Саша любит считать их по дороге в школу. Двадцать семь на одной улице. Тридцать две на следующей. Иногда он представляет, что тарелки — это уши. Они слушают не только Москву и Стамбул, но и всех, кто внизу шепчет.

Вечером, когда жара спадает, соседи собираются во дворе.

Мужчины курят на лавочках, женщины варят плов в огромных казанах. Говорят, тихо. Очень тихо. Саша сидит на корточках у стены, делает вид, что играет в машинки, а сам слушает.

Дядя Рахим, сосед с третьего этажа, шепчет отцу: «Опять Рухнаму в школе заставляют наизусть. Мой младший вчера ошибся на слове «вечный» — учительница записала в журнал. Теперь ждём».

Отец молчит. Только кивает. Потом тихо: «Не говори громко. Стены слышат».

Саша не понимает, почему стены слышат, но видит, как все оглядываются. Даже дети перестают кричать.

Однажды вечером — Саше уже одиннадцать — во дворе появился новый сосед. Молодой парень из Мары, приехал работать на стройке белого мрамора. Он громко смеялся, рассказывал анекдоты. Один — про Туркменбаши и золотую статую. Саша не понял слов, но запомнил, как все разом замолчали.

На следующий день парня не стало. Сказали: «Уехал в Мары». Но Саша видел, как ночью приезжала чёрная «Волга» без номеров. Видел, как парня выводили из подъезда — руки за спиной, рот заклеен скотчем. Видел, как мать парня стояла у окна и не плакала — просто смотрела пустыми глазами.

После этого во дворе стало ещё тише.

Тарелки на крышах продолжали смотреть вверх. Саша те-

перь боялся их. Ему казалось, что они не ловят передачи, а передают вниз всё, что люди думают. Каждый раз, когда он хотел сказать маме «я не хочу больше в школу», слова застревали в горле. Потому что тарелки услышат. Потому что статуя услышит. Потому что стены услышат.

Однажды мама варила сгущёнку в кастрюле. Запах разошёлся по всей квартире — сладкий, густой, как детство. Саша сидел на кухне, смотрел, как банка крутится в кипятке. Мама вдруг сказала тихо, почти шёпотом:

«Аронька, если когда-нибудь спросят — ты русский. Понял? Александр Иванович Чуйков. Запомни».

Саша кивнул. Он уже знал, как прятать настоящее имя. Как прятать мысли. Как молчать, даже когда внутри всё кричит.

Тарелки на крыше ловили сигналы из космоса. А люди внизу учились ловить тишину.

Саша смотрел в окно. Золотая статуя поворачивалась к закату. Её глаза блестели. Он опустил взгляд.

И больше никогда не поднимал его на статуи.

Внутренняя война

Ночь в комнате над рестораном — душная, пропитанная запахом специй и собственной крови. Вентилятор жужжит, но воздух стоит мёртвый. Александр лежит на койке, ботинки на ногах, глаза открыты в темноту. Жар в венах — уже не то пламя, что было ещё вчера, а медленный яд, который не жжёт, а просто течёт. Течёт, чтоб отравить и затем забрать силой разум.

Он встал. Подошёл к окну. Пыль за стеклом кружила — красная, как он вчера узнал, живая. Он пытался понять: откуда это? Пыль? Вирус? Или эхо прошлого — страх, который всегда шептал в Ашхабаде, заставляя прятаться, молчать, выживать.

День уже не начинался — он просто продолжался, как бесконечный красный прилив. Солнце висело низко, тяжёлое, будто кто-то придавил его к земле ладонью. Александр шёл по пустым улицам Дарвина босиком — кожа на ступнях давно не чувствовала ожогов.

В груди — тление, ровное, уверенное. Как будто кто-то разжёг внутри рёбер маленький костёр и подкармливает его сухими ветками воспоминаний.

Он остановился у заброшенной заправки. Бензоколонки стояли, как мёртвые стражи. На асфальте — чёрные круги от пролитого топлива, смешанные с красной пылью.

Перед ним появился силуэт — высокий, почти прозрачный от дрожащего воздуха. Мужчина в старой туркменской телпеке, вместо лица — пламя. Не яркое — тлеющее, угольное, с красными прожилками.

— Ты пришёл за мной? — спросил Александр.

Пламенный наклонил голову. Голос — треск горящего дерева:

— Я всегда был здесь. В каждом ударе, когда ты заставлял тело подчиняться. В каждом «не отдам», когда прятал имя. В каждом разе, когда ел сгущёнку, чтобы заглушить голод, который был по родине.

Жар в груди Александра ответил — синхронно, как эхо.

— Ты — то, что шепчет «бери»?

— Я — то, что позволяет брать. Без меня ты бы давно лёг на колени. Без меня ты бы не выжил в Ашхабаде, не убежал, не дожил до этой пустыни. Я — огонь выживания. А теперь огонь стал больше тебя.

Пламя вспыхнуло ярче. Александр почувствовал, как тело становится легче — не от слабости, от силы, которая больше не прячется.

— А если я откажусь?

— Тогда огонь погаснет. Вместе с тобой. И ты станешь одним из тех, кто лежит на коленях и молчит. Пыль заберёт твоё имя окончательно. Даже Аарон исчезнет.

Александр поднял руку. Ладонь открыта. На коже — красные линии, как трещины в обожжённой глине.

— Тогда гори. Но со мной. Не вместо меня.

Пламенный силуэт склонил голову — будто кланяется.

— Как пожелаешь.

Фигура растворилась, но жар вошёл глубже — в мышцы, в кости, в кровь. Тело стало легче. Сила — своей.

Ветер пришёл сразу после — поднялся из красной земли, горячий, сухой, несущий пыль как миллионы крошечных голосов. Дул низко, закручивался воронками у ног, забирался под кожу, в ноздри, в уши.

Шёпот теперь шёл не из-под земли, а сверху, сбоку, отовсюду: «…не отдавай…» «…ты сильнее…» «…возьми их всех…»

Александр не отвечал. Просто шёл. За ним тянулся шлейф — те, кого коснулся огонь. Они шли молча, прямо. Ветер вокруг них расступался.

Он дошёл до старого пирса. Океан — маслянистый, неподвижный, покрытый красной плёнкой. Волны лизали бетон медленно, устало.

Ветер ударил в лицо — как пощёчина. И в этот миг Александр услышал другой тембр: ветер его детства.

Ашхабад. Лето. Пыльная буря с Каракумов. Он, мальчишка, прижимается к стене. Дед держит за плечо. Ветер воет, несёт песок тысячами иголок. Дед наклоняется:

«Не бойся ветра, Аронька. Он несёт то, что мы не можем сказать вслух. Слушай его — и помни: ветер не просит. Он берёт.»

Теперь он понял.

Ветер закрутился в столб. Внутри — тени: тонкие, текучие, серо-красные. Они плыли против ветра, приближались.

Один силуэт вышел вперёд — высокий, худой, в старом пальто. Лицо скрыто, но голос знакомый:

— Ты помнишь, как я учил тебя не плакать, когда мать умерла? Потому, что слёзы — слабость. Потому что слёзы — это уязвимость. А мы не можем быть уязвимыми и слабыми.

Александр остановился. Ветер бил в спину, толкал вперёд.

— Я помню. Но я устал быть таким. Устал держать всё в себе, оно уже разрывает изнутри.

Тень деда покачала головой:

— Ты не устал. Ты хочешь жить по-своему. Не слабым и не сильным. Не вниз и не вверх. Ты хочешь, чтобы они восхваляли тебя. Это другое.

Ветер усилился. Тени множились: прадед с простреленной головой, прабабка с пустыми глазами, отец и мать в застенках, Лена — худая, рука на животе.

Все они говорили одновременно:

— Мы не сдавались. Мы не показывали слабости. Мы выжили. Теперь твоя очередь — быть хозяином своей жизни.

Александр поднял руки. Ветер забирался под кожу, в вены, в лёгкие. Он не боролся. Вдыхал его.

Шёпот изменился. Стал его собственным дыханием.

Он выдохнул — ветер ответил. Красная пыль поднялась

стеной вокруг пирса, вокруг него, вокруг тех, кто шёл за ним. Стена росла, закрывала горизонт, океан, небо.

Внутри стены — тишина.

Александр стоял в центре. Глаза горели не кровью — красным светом. Тлеющим.

Он сказал тихо, но ветер разнёс слова по всему городу:

— Я не возьму вас силой. Я возьму вас ветром. Кто хочет — пусть идёт. Кто боится — пусть остаётся на коленях.

Ветер стих. Стена пыли осела медленно, как снег, которого никогда не было.

На пирсе — уже не один он. Рядом стояли те, кого коснулся огонь. А теперь — и ветер.

Они не шептали. Они дышали. Глубоко. Ровно.

И ветер внутри них уже не чужой. Он их.

Александр посмотрел на океан. На поверхности — не большая рябь. Он повернулся и пошёл обратно в город. За ним — не большая толпа. Ветер. И те, кто научился дышать красной пылью.

Река живой красной пыли достигла океана на рассвете. Вода у берега сначала потемнела, потом застыла, стала густой, почти неподвижной. Красные нити тянулись от устья вглубь, точно корни, ищущие почву в мёртвом песке. Волны больше не бились — они лизали берег медленно, оставляя чёрно-красную пену, которая не таяла.

Александр стоял на краю обрыва, где когда-то была смотровая площадка. Перила прогнулись, бетон покрылся тре-

щинами. Он спустился по осыпающемуся склону. Босые ноги оставляли глубокие красные отпечатки — песок под ними сразу темнел, превращался в корку.

На берегу стояли те, кто дошёл. Ольга — по щиколотки в красной воде. Фартук всё ещё на ней — белый, но теперь с чёрно-красными пятнами. В одной руке — пустая банка сгущёнки, последняя, которую она так и не доела. Глаза закрыты, но губы чуть улыбаются — спокойно.

Амина — чуть дальше, по колено в воде. На коленях. Руки опущены, голова склонена. Кольцо на пальце — тонкое, простое — всё ещё блестит сквозь кровь. Глаза закрыты, губы шевелятся: «Отпусти… отпусти…»

Александр подошёл к кромке. Остановился там, где волна касалась пальцев. Кровь из его вен сразу потекла быстрее — словно узнала дом.

Ольга открыла глаза. Они были красными, но уже не налитыми страхом. В них — тишина.

— Я отпустила, — сказала она тихо. Голос чистый, без хрипа. — Магазин. Пирожки. Ивана. Снег, которого здесь не было. Всё. Нить порвалась давно. Я просто держала обрывки.

Она подняла банку — пустую, лёгкую.

— Последняя была тёплой. Как всё здесь. Я открыла её. И ничего не почувствовала. Ни вкуса. Ни дома. Только тишину.

Ольга протянула банку Александру. Он взял. Металл был холодным — впервые за долгое время.

— Не держи её, — сказала она. — Не держи ничего. Пусть течёт.

Она улыбнулась — мягко, почти матерински.

— Ты сильный. Но сила — это тоже нить. Когда-нибудь она порвётся. И тогда… просто иди.

Ольга отступила назад — в воду. Волна поднялась к её груди, к шее. Она не сопротивлялась. Просто смотрела на Александра — спокойно, без упрёка.

— Спасибо, что приходил за молоком, — прошептала она. — Это было похоже на дом.

Вода накрыла её голову. Банка осталась в руке Александра — пустая, холодная. Ольга исчезла — не растворилась в боли, не сломалась. Просто ушла. Свободная.

Амина медленно встала. Вода стекала с неё — густая, как слёзы. Подошла к Александру — шаг за шагом, не проваливаясь в песок.

Остановилась в двух шагах. Протянула руку — ладонь открыта, кровь на пальцах уже не течёт, а запеклась тонкой коркой.

— Я отпустила, — сказала она тихо, но чётко. — Не его. Себя. Теперь я пустая… но свободная.

Она улыбнулась — впервые без боли, без страха. Просто улыбнулась.

— Ты всё ещё держишь. А я… я наконец отпустила. И ничего не сломалось. Только клетка.

Амина сделала шаг назад — в реку. Вода поднялась к

груди, к шее, к подбородку. Она не сопротивлялась. Просто смотрела на Александра — спокойно, почти ласково.

— Если сможешь — отпусти тоже. Не всё сразу. По капле. Как я.

Волна накрыла её — медленно, без шума. Амина не растворилась. Она просто ушла — в реку, в свет, в тишину. Последнее, что увидел Александр, — блеск кольца на её пальце, прежде чем вода сомкнулась.

Шёпот стал громче — но уже не разрушительный. Он превратился в гул. В вибрацию, что прошла сквозь песок, сквозь кости, сквозь сердце.

Александр стоял. Волна накрыла его по пояс. Кровь вошла в рот, в нос, в глаза. Он не сопротивлялся. Просто стоял.

И в этот миг шёпот разрушения смолк.

Разрушать было уже нечего.

Всё, что можно было сломать — сломалось. Всё, что можно было взять — взято. Всё, что можно было не отдавать — не отдано.

Осталась только река.

И он — внутри неё. Не отдельно. Не снаружи. Просто часть.

Когда волна схлынула, он всё ещё стоял.

Но уже не один.

Река текла через него. И он тёк вместе с ней — к океану, к тому, что дальше, к тому, чего уже никто не боялся назвать концом.

Александр остался стоять на коленях в мокром песке. Вода больше не казалась чужой, а жар внутри больше не выжигал вены. Он не стал тем голодным чудовищем, которое требовало: *«Бери всё, подчиняй всё»*. Он не сдался и не ушел вслед за теми, кто выбрал забвение.

Он просто позволил этому пройти сквозь себя.

Аарон, мальчик из беломраморного Ашхабада, прятавший лицо от золотых идолов. Александр, ковавший тело из железа и боли в подвалах. Муж, потерявший семью. Мигрант с чужим паспортом. Больше не нужно было хоронить одно имя ради другого. Они сошлись в одной точке — здесь, на краю света.

Шёпот в голове затих. Пыль пыталась сломать его страхом и жаждой власти, но наткнулась на пустоту человека, которому уже нечего было терять — и который наконец перестал бежать от самого себя.

Александр согнулся пополам и тяжело, с надрывом закашлялся. На мокрый песок выплеснулся сгусток темной, почти черной слизи — последнее, что пыталось паразитировать на его воле. Воздух ворвался в легкие — резкий, обжигающий, но чистый. Свой.

Глаза всё ещё жгло, и красные прожилки никуда не исчезли, навсегда въевшись в белки. Но зрение стало кристально ясным. Пульс выровнялся: ровные, тяжелые шестьдесят ударов в минуту.

Он поднялся на ноги. Тело ныло, как после предельной

становой тяги на триста пятьдесят килограммов, но мышцы слушались безукоризненно. Инфекция не убила его — она перегорела в его собственном огне, оставив после себя лишь иммунитет и холодную, несгибаемую ясность.

На берегу было пусто. Ни Ольги, ни Амины, ни теней. Только тихий океан и брошенная на песке жестяная банка.

Александр подобрал её, сжал в кулаке и посмотрел в сторону вымершего, задыхающегося города.

— Дарвин будет стоять, — произнес он вслух. Голос звучал глухо, но в нем больше не было чужого эха.

Он развернулся и зашагал обратно к бетонным коробкам. Впереди было много работы: найти генераторы, запереть склады, укрепить периметр и включить радиостанцию на длинные волны, чтобы звать тех, кто ещё способен дышать.

Апокалипсис в Сиднее

Крыша Сиднея воняла ржавчиной и солью. Внизу, в ущелье между небоскрёбами, двое рвали друг друга за рюкзак с банками. Один уже без глаза, второй — без трёх пальцев. Удары падали медленно, будто воздух превратился в патоку. Кровь брызгала и впитывалась в асфальт чёрными пятнами.

Джекс Bitok Кейн стоял на краю. Ветер нёс с запада красную пыль — тонкую, как толчёные кости. Она скрипела на зубах. Он не моргал.

В висках стучало. Что-то Ровное. Чужое.

«Убей обоих. Быстрее будет. Рюкзак твой. Тишина твоя».

Bitok сжал челюсть. Голос не родился в голове — он просто был. Как будто кто-то забыл выключить микрофон внутри черепа.

Он посмотрел вниз. Первый упал. Второй наклонился, открыл банку зубами. Кровь смешалась с томатным соком.

«Видишь? Он уже мёртв внутри. Закончи. Будь милосердием».

Bitok медленно выдохнул. Воздух вышел красным.

Он развернулся и пошёл к люку. На двадцать третьей ступеньке остановился, прижался лбом к холодному металлу.

— Нет, — сказал он вслух. Голос вышел хриплый, чужой.

Шёпот не ответил. Тишина стала только плотнее.

В подвале пахло сыростью, потом и керосином.

Анна сидела у стены, прижимая Джонни к груди. Мальчик спал — или притворялся. Роман чистил револьвер, щёлкая барабаном. Отец Деметриус в углу точил нож — медленно, почти ласково.

Bitok сел напротив Анны. Достал последнюю сигарету, чиркнул спичкой.

— Там двое грызлись за банку томатного сока.

Анна не подняла глаз. Только крепче прижала сына.

— Джонни сегодня почти ничего не ел… Горло болит.

Bitok затянулся. Дым в свете лампы казался красным.

Внутри снова зашевелилось.

«Они все умрут. Ты знаешь. Зачем тянешь?»

Он посмотрел на тонкую шею мальчика.

— Нет, — произнёс он уже вслух.

Слово упало в подвал, как камень в колодец.

Роман щёлкнул барабаном.

— Завтра пойдём на север.

Роман хмыкнул.

— Если ещё есть куда идти.

Отец Деметриус не поднял головы. Нож продолжал шуршать о камень.

— Как я устал, какой-то зомби апокалипсис из-за какой-то пыли. Даже тут одна красная пыль и холод внутри. Странно что нас не превратило в нечто подобное.

Bitok докурил, раздавил окурок о бетон и встал.

— Значит, завтра выходим. А так же тебе отвечу,я думаю

что мы переболели в лёгкой форме.

Никто не ответил. Только лампа мигнула — будто согласилась.

Подвал дышал тяжело, как старый зверь перед смертью. Керосиновая лампа коптила стену чёрными языками.

Анна сидела на матрасе, скрестив ноги. Джонни лежал у неё на коленях. Мальчик не спал. Глаза были открыты, покрасневшие, смотрели куда-то вглубь. Кожа на висках казалась прозрачной и тонкой.

Она гладила его по волосам. Пальцы дрожали.

— Он сегодня почти не ел… Горло болит.

Джонни шевельнулся.

— Мам… горло болит.

Анна прижала его ближе и поцеловала в макушку.

— Знаю, малыш.

Она подняла взгляд на Bitok'а.

Bitok отвёл глаза.

Внутри снова заговорил шёпот, почти ласково:

«Мальчик уже не встанет. Один укол — и тишина для всех».

Bitok сжал кулаки. Костяшки побелели.

Анна продолжила тихо:

— Помнишь, как мы ездили на озеро? Он ловил лягушек руками… Смеялся так, что я думала — сердце выскочит.

Джонни слабо улыбнулся.

— Папа врал…

— Да, — ответила Анна. — Папа всегда врал. Чтобы мы не боялись.

Отец Деметриус вдруг остановил руку с ножом.

— В Греции у нас тоже был такой мальчишка. Младший брат. Тоже ловил лягушек. Только там они и правда были ядовитые.

Он помолчал.

— Дальше — могила. Как всегда.

Роман закончил чистить револьвер и щёлкнул барабаном.

— Скоро светать будет.

Но никто не лёг.

Bitok смотрел на мать и сына. На красные от пыли глаза мальчика.

Шёпот внутри стал мягче:

«Они оба уже мертвы. Ты просто тянешь момент».

Bitok закрыл глаза и прижался затылком к холодной стене.

Подвал молчал всю ночь. Только лампа шипела. Джонни дышал рвано — каждый вдох будто требовал решения. Анна не спала. Сидела, обхватив сына, подбородок на его макушке. Взгляд упирался в трещину на стене, похожую на беззубую улыбку.

Роман сидел у старого радиоприёмника и медленно крутил ручку. Статический шум лился, как дождь по жести. Иногда сквозь него прорывался обрывок голоса — слово, полслова, плач. Потом снова шум.

Отец Деметриус спал сидя, нож прижат к груди. Джекс лежал на спине, руки за головой, и смотрел в потолок. Там в красной от пыли паутине висела мёртвая муха.

Шёпот пришёл ближе этой ночью. Не словами — просто тёплое давление на затылке. «Послушай радио. Там уже всё сказано. Север мёртв. Юг мёртв. Здесь тоже скоро. Ляг. Закрой глаза. Отдохни по-настоящему».

Джекс повернул голову к Роману.

— Что-нибудь есть?

Роман крутанул ручку. Шум стал громче. Потом — треск. И голос. Далёкий, хриплый.

«…Дарвин. Если кто слышит… Дарвин держится. Вода есть. Еда есть. Медикаменты есть. Стены есть. Люди все с иммунитетом, остальные ушли в море и не вернулись. Идите на север. Если можете…»

Голос утонул в треске.

Анна подняла голову. В её красных глазах впервые за неделю мелькнуло что-то живое.

— Это правда?

Роман выдохнул.

— Может, и правда. А может, кто-то просто хочет, чтобы мы вышли и умерли на дороге.

Он повернулся к Джексу.

— Ты что думаешь?

Джекс сел, потёр лицо ладонями.

— Думаю, что, если сидеть здесь — умрём точно.

Шёпот внутри стал громче:

«Не верь. Это ловушка».

Джекс встал и подошёл к радиоприёмнику.

— Включи ещё раз.

Голос вернулся — слабее, но чётче:

«…Дарвин. Последний сигнал. Если вы живы — идите. Мы ждём. Держим тепло. Пока можем».

Связь оборвалась.

Отец Деметриус открыл глаза.

— Север далеко. Но сидеть здесь — ещё дальше.

Анна прижала Джонни сильнее. Мальчик открыл глаза.

— Мы пойдём? — спросил он шёпотом.

Джекс посмотрел на каждого.

Шёпот внутри закричал:

«Нет. Нет. Нет».

Джекс сжал зубы.

— Нет, — сказал он шёпоту вслух. Потом уже всем, спокойно: — Мы не останемся.

Роман кивнул.

Отец Деметриус улыбнулся уголком рта.

Анна посмотрела на Джонни. Мальчик кивнул — слабо, но твёрдо.

— На север, — сказала она.

Радио молчало. Но в нём ещё звенело эхо того голоса с тяжёлым русским акцентом.

Где-то через час, дверь в подвал дрогнула от тяжёлого уда-

ра. Потом ещё раз. И ещё — уже с хрипом, будто человек за дверью толкался последними силами.

Все мгновенно напряглись. Роман схватил револьвер. Отец Деметрийус бесшумно поднялся с ножом в руке. Bitok встал медленно, без лишнего шума. Анна прижала Джонни к себе так сильно, что мальчик тихо пискнул.

— Эй… внутри… — раздался низкий, надтреснутый голос с заметным австралийским акцентом. — Если там ещё живые — открывайте, чёрт вас дери. У меня генератор. Бензин. Свет. Не стреляйте только, я не для того сюда перся.

Роман посмотрел на Bitok'а. Тот коротко кивнул.

Отец Деметриус подошёл к двери первым, нож в правой руке, левой осторожно отодвинул засов. Дверь открылась на узкую щель.

В проёме стоял высокий, плечистый мужчина, сутулый, будто всю жизнь таскал на спине чужие проблемы. Лицо в пыли и саже, рыжая борода, глаза красные от усталости. На плече — старый армейский рюкзак, из которого торчали провода. В руках — канистра и что-то тяжёлое, завёрнутое в грязную тряпку.

— Харрис, — представился он сразу. — Механик. Был в гараже на окраине. Всё сгорело к чертям. Ушёл вчера. Вас нашёл по свету лампы — в щель видно было.

Роман не опустил револьвер.

— Чего надо?

Харрис усмехнулся криво, без веселья.

— Не сдохнуть в одиночку. И вам того же желаю. Генератор у меня рабочий, дизельный. Ещё на неделю хватит, если не жечь как на Новый год.

Bitok шагнул вперёд.

— Почему мы должны тебе верить?

Харрис посмотрел ему прямо в глаза — тяжело, но без вызова.

— А не верьте. Если б я хотел вас грохнуть — уже бы выстрелил через дверь или просто прошёл мимо. А я стою тут, как последний идиот, и прошу впустить.

Пауза повисла тяжёлая.

Анна заговорила первой — тихо, но в голосе была трещина:

— Джонни… ему холодно. Свет бы помог.

Джонни поднял голову и посмотрел на незнакомца большими красными глазами.

Харрис заметил мальчика — и лицо у него на секунду смягчилось.

— У меня есть маленький фонарик. На батарейках. Для пацана отдам.

Отец Деметриус отступил в сторону. Роман наконец опустил револьвер, но не убрал.

— Заходи. Медленно. И без резких движений.

Харрис вошёл, поставил канистру у стены и аккуратно развернул тряпку. Генератор был маленький, потрёпанный, но выглядел ухоженным.

Он присел, подключил провода, повернул ручку.

Жёлтый, тёплый свет залил подвал. Тени сразу стали чётче, стены — ближе.

Харрис сел на ящик, вытер лицо рукавом и тяжело выдохнул.

— Я не герой, ребята. Просто… там наверху уже полный ужас. Люди дерутся за глоток воды и банку консервов. Я устал на это смотреть. Думал — найду место, где хоть кто-то ещё остался человеком.

Bitok смотрел на него внимательно.

Шёпот внутри шевельнулся: «Он врёт. Пришёл за едой. За мальчиком. За тишиной».

Bitok сжал челюсть.

— Останешься до утра, — сказал он ровно. — А там посмотрим.

Харрис кивнул.

— До утра — нормально.

Анна встала и осторожно подошла к генератору. Провела рукой по металлу, будто боялась, что он исчезнет.

— Спасибо…

Харрис пожал плечами.

— Не за что. Просто… ненавижу темноту, мать её.

Джонни смотрел на свет широко открытыми глазами. В них отражался жёлтый огонёк.

— Красиво… — прошептал он.

Харрис посмотрел на мальчика и впервые за вечер улыб-

нулся — очень слабо, почти незаметно.

Первая ночь с новым человеком началась. Генератор гудел ровно и тихо.

Харрис лёг у стены, ближе к генератору. Свет лампы падал на него косо — половина лица в тени, половина в жёлтом. Он не спал. Лежал на спине, руки под головой, смотрел в потолок. Генератор гудел рядом — низкий, ровный звук, как дыхание спящего зверя.

Остальные уже затихли. Анна свернулась вокруг Джонни. Мальчик дышал тише, чем раньше. Роман сидел у двери, револьвер на коленях, глаза полуприкрыты. Деметрий ушёл в свой угол — нож в руке, глаза закрыты, но пальцы иногда шевелились.

Харрис закрыл глаза. И сразу увидел мастерскую.

Деревянный пол, пропитанный маслом. Запах бензина, металла и кофе. Свет из окна — обычный, солнечный, без пыли. На верстаке — карбюратор от старого «Форда», разобранный по частям. Рядом — маленькие руки. Эмма. Ей восемь. Волосы в хвосте, перепачканные сажей. Она держит отвёртку неправильно, но старается.

— Пап, смотри, я почти разобрала.

Он смеётся тихо, выдыхает воздух через нос.

— Почти — это хорошо. Значит, есть куда расти.

Она хмурится. Серьёзно. Как взрослая.

— А если я сломаю?

— Тогда починим. Вместе. Ничего не ломается навсегда.

Эмма улыбается. Зубы белые, один чуть кривой. Она наклоняется ближе. Пальцы маленькие, ловкие.

За окном — двор. Трава. Собака лает где-то далеко. Обычный август.

Потом — вспышка. Запах дыма. Крик. Огонь — быстрый, жадный. Эмма поворачивается. Глаза огромные.

— Пап…

Он хватает её, бежит к двери. Но дверь уже горит. Стены трещат.

Он толкает её в окно. Стекло разбивается. Она падает на траву. Целая.

А он остаётся внутри. Огонь лижет руки. Дышать нечем. Он падает на колени.

Последнее, что видит — Эмма на траве. Она встаёт и кричит: «Папа!»

Харрис открыл глаза. Подвал. Генератор гудит. Свет жёлтый.

Он сел. Потёр лицо ладонями. Кожа шершавая, в старых ожогах.

Посмотрел на мальчика. На тонкую шею. На ключицы под рубашкой.

Встал тихо, подошёл к рюкзаку, достал маленькую жестяную коробку. Открыл. Внутри — смятая фотография. Эмма улыбается, держит отвёртку.

Харрис смотрел долго. Потом закрыл коробку и положил обратно.

Вернулся на место. Лёг. Закрыл глаза.

Утро пришло без света. Генератор гудел всю ночь, но лампа выключилась под утро — дизель кончился быстрее, чем обещал Харрис. Подвал тонул в сером сумраке, который сочился сквозь трещины в потолке. Пыль висела в воздухе — тонкая, красная.

Джонни проснулся первым. Веки дрогнули, открылись. Глаза мутные, красные от пыли. Он лежал на коленях у Анны, щека прижата к её бедру. Дыхание поверхностное, но ровное.

Анна открыла глаза мгновенно. Руки сжались вокруг сына.

— Джонни…

Он повернул голову. Улыбнулся уголком рта.

— Мам… я голодный.

Голос тонкий, но ясный. Первый раз за два дня он сказал что-то, кроме «горло болит».

Анна села прямее. Достала из рюкзака последнюю банку тушёнки. Открыла ножом Деметрия. Запах мяса разошёлся по подвалу. Она взяла погнутую ложку, набрала немного и поднесла к губам сына.

— Медленно. Маленькими глотками.

Джонни проглотил. Закрыл глаза на секунду.

— Вкусно. Как дома.

Анна кивнула.

— Как дома, — повторила она тихо.

Харрис проснулся от запаха. Сел. Потёр шею. Посмотрел на мальчика.

— Дай я подогрею.

Он достал маленькую горелку, поставил банку на огонь. Пламя было голубым и чистым.

Роман и отец Деметриус тоже проснулись. Сели молча. Смотрели, как Анна кормит сына. Никто не просил свою порцию. Еда была только для Джонни.

Джонни ел медленно. Каждый глоток — как событие. Он смотрел на огонь, на лица вокруг, на пыль, что танцевала в воздухе.

— Мам… а папа… он бы сейчас сказал, что я ем, как волк.

Анна замерла. Ложка дрогнула в руке.

— Да. Сказал бы. И посмеялся бы.

Bitok сидел в углу. Смотрел и думал о своём.

Шёпот внутри шевельнулся — тихо, почти сочувственно.

«Он ест. Он живёт. Но ненадолго. Зачем тянешь его мучения?»

Bitok сжал кулак. Костяшки хрустнули.

Джонни доел. Откинулся на руки матери. Дыхание стало глубже.

— Спасибо, дядя Харрис, — сказал он тихо.

Харрис кивнул и выключил горелку. Запах остался.

Анна уложила Джонни удобнее. Погладила по щеке. Кожа была горячей — теплее, чем вчера.

Она посмотрела на Bitok'а.

—Ему сегодня лучше.

Bitok кивнул медленно.

— Лучше.

Роман разложил карту на ящике — старую, потрёпанную, с загнутыми углами. Бумага пожелтела, линии дорог стёрлись, но север ещё читался: Дарвин — жирная точка вверху, Сидней — крестик внизу. Между ними — красная пустота.

Света не было. Харрис держал маленький фонарик. Луч дрожал.

Все собрались вокруг. Анна сидела на матрасе, Джонни у неё на коленях. Отец Деметриус стоял за спиной Романа. Bitok присел напротив.

Роман провёл пальцем по тонкой линии, уходящей на север.

— Через Брисбен. Потом пустыня. Если машина найдётся — два-три дня. Если пешком…

Он не закончил.

Харрис наклонился ближе.

— Машина найдётся. Я видел старый пикап на окраине. Если заведётся — поедем.

Отец Деметриус кивнул медленно.

— Если заведётся.

Джонни протянул руку и коснулся точки Дарвина.

— Там море?

Анна погладила его по голове.

— Там океан. И люди. И, может, еда.

Джонни улыбнулся уголком рта.

Bitok смотрел на юг карты — там, где линии уже совсем стёрлись.

Шёпот пришёл тихо, как шелест бумаги.

«Юг мёртв. Всё мёртво. Зачем тащить их туда?»

Он достал старый планшет, подключил к батарейке Харриса. Экран мигнул и загрузился.

Юг горел. Чёрные пятна пожаров. Города — серые. Дороги пустые.

Bitok повернул планшет к остальным.

— Юга уже нет. Если идти — только на север.

Роман сжал край карты.

— Значит, север.

Харрис кивнул.

— Пикап. Завтра проверим.

Анна прижала Джонни ближе.

— Мы пойдём.

Джонни кивнул.

Bitok выключил планшет. Тьма вернулась.

Шёпот отступил. На миг.

Но пыль на карте шевельнулась — тонкая красная волна прошла по бумаге.

Роман сложил карту аккуратно, встал и подошёл к двери.

— Утро. Снаружи тихо. Можно выходить.

Bitok вышел последним. Смотрел в пол. Пыль собралась

в маленькую кучку у его ботинка.

Шёпот пришёл с рассветом — резко, как пощёчина.

«Не выходи. Здесь стены. Здесь тишина. Снаружи — только пыль и крики.

Bitok сжал челюсть.

Шёпот продолжил настойчивее:

«Ты можешь остановить. Один шаг назад. Один удар. Тишина. Милосердие».

Он встал и подошёл к группе.

Все повернулись к нему.

Анна держала Джонни за руку. Мальчик смотрел вверх.

Роман поднял бровь.

Харрис замер с канистрой в руке.

Деметрий кивнул.

Bitok выдохнул. Воздух вышел красным.

Анна прижала сына к себе. Поцеловала в макушку.

Роман кивнул коротко.

— Тогда к машине.

Bitok посмотрел на дверь. На трещину в бетоне, где пыль шевелилась тонкими волнами.

Шёпот взвыл внутри — коротко, злобно.

«Ты пожалеешь. Все пожалеют».

Bitok шагнул вперёд и повернул засов. Дверь скрипнула громко, как крик и закрылась.

Воспоминание: Мир не реален?

Он увидел себя — сидящим в комнате без дверей. Стены серые, без швов. Потолок низкий, давящий. Перед ним — огромный монитор. На экране — карта. Красная пыль — пиксели. Группа — крошечные точки, медленно движущиеся по координатам.

Он потянулся к клавиатуре. Пальцы дрожали.

SHOW STATUS Enter.

Экран мигнул.

STATUS: SIMULATION CYCLE 47 ERROR RATE: 99.87% SUBJECT: JAX "BITOK" KANE — LAST ACTIVE USER REMAINING ENTITIES: 4 (ANNA, ROMAN, DEMETRIUS, MARA) + 2 CORPSES SYSTEM INTEGRITY: CRITICAL REBOOT RECOMMENDED: DENIED BY USER DELETE RECOMMENDED: DENIED BY USER CONTINUE RECOMMENDED: ACCEPTED

Он смотрел на строки долго.

Потом набрал:

WHY Enter.

Ответ пришёл мгновенно — ровный, без интонации.

BECAUSE YOU SAID "NO"

Bitok замер.

Он увидел себя раньше — молодого, уверенного. Пальцы быстро бегали по клавиатуре. WikiLeaks. Сливы. Правда.

Enter. Enter. Enter.

Потом — арест. Камера. Одиночка. Серые стены. Жёлтый свет.

Тогда он впервые понял: мир — не реальность. Симуляция. Код. Ошибка.

Он набрал тогда — в голове:

NO

Мир не перезагрузился. Продолжил.

Теперь — снова.

Он посмотрел на экран.

Четыре живые точки. Две мёртвые.

Он набрал:

EXIT Enter.

Экран мигнул красным.

ACCESS DENIED YOU ARE THE LAST YOU CHOSE TO STAY

Bitok встал.

Пальцы — уже не на клавиатуре. На пыли.

Он моргнул.

Зелёный код исчез.

Пыль вернулась — красная, густая.

Группа впереди — силуэты.

Великое путешествие

Один сухой выстрел. Эхо прокатилось по городу, будто кто-то бил молотком по металлу.

Анна посмотрела на Джонни. Мальчик смотрел в бок, на трещину в стене.

— Дядя Роман… там кто-то умер?

Роман ответил коротко:

— Может, да. Может, нет.

В десяти метрах лежало тело. Мужчина лицом вниз. Рядом — пустая банка и пистолет. Пыль поднялась тонким вихрем вокруг ног умершего— красная, живая.

— Один. Сам. Может, не выдержал голосов в голове и борьбы со своим разумом.

Анна встала, Джонни на руках. Мальчик молчал, схватившись крепко в маму, аж до крови, глаза были огромными.

Группа вышла из тени зданий. Шаги — тихие, осторожные. Джонни на руках у Анны смотрел вперёд. В его глазах отражался красный свет.

Роман шёл первым, револьвер в руке, палец на спусковом крючке. Он оглядывался коротко и резко. Тело всё ещё лежало там же. Пыль осела на нём тонким красным слоем.

Харрис нёс канистру. Его взгляд цеплялся за каждую машину.

Отец Деметриус замыкал слева, нож в руке.

Они прошли квартал. Дома стояли пустые, окна выбиты. На одном подоконнике сидел плюшевый медведь — без глаза, без лапы. Пыль на шерсти была красной.

Джонни повернул голову.

— Дядя Bitok… почему всё красное?

Bitok посмотрел на мальчика, потом на небо.

— Потому что нас всех окутала и заразила живая красная пыль из Индии.

Джонни кивнул.

Они шли молча. Красное утро перешло в день, но свет не посветлел — только стал гуще. Улицы превратились в каньоны из бетона и металла: перевёрнутые машины, выбитые окна, свисающие провода.

Роман шёл первым. Он первым увидел баррикаду и поднял руку — кулак. Все остановились.

Впереди на перекрёстке — груда из трёх сожжённых грузовиков и двух автобусов, поставленных поперёк. Между ними — доски, шины, мебель и три тела. Двое мужчин, одна женщина. Пыль уже осела на них тонким красным слоем.

Роман присел и медленно повёл стволом револьвера.

— Кто-то стережёт. Вижу движение за автобусом. Двое, может трое.

Харрис опустился на колено рядом.

— Мой пикап — за той баррикадой. Синий. Если прорвёмся — уедем от сюда. Но обхода нет. Слева завал, справа дом горит. Только прямо.

Bitok смотрел на баррикаду. Шёпот пришёл мгновенно — громко, как выстрел:

«Они ждут. Ты первый пойдёшь — и умрёшь. Они заберут мальчика. Заберут женщину. Останови. Здесь. Сейчас».

Bitok сжал зубы.

Роман повернулся к группе.

— Я иду первым. Деметриус — слева. Харрис — справа. Bitok прикрывает Анну и Джонни. Если начнут — стреляем без раздумий.

Джонни тихо шепнул:

— Дядя Bitok… держи маму.

Bitok кивнул.

— Держу.

Роман шагнул вперёд. Револьвер наготове.

За баррикадой раздался хриплый голос:

— Стойте! Кто такие?

Роман продолжал идти.

— Проходим. Не трогаем вас — вы не трогаете нас.

Смех. Злой.

— Всё трогаем. Особенно детей.

Выстрел. Пуля ударила в асфальт у ног Романа. Пыль взлетела красным фонтаном.

Роман упал на колено и выстрелил дважды. Крик. Тело упало за автобусом.

Отец Деметриус рванулся влево. Короткий удар ножом. Хрип. Тишина.

Харрис бросился вправо. Удар канистрой. Хруст кости. Выхватил пистолет-пулемёт и выстрелил.

Третий выскочил из-за грузовика и прицелился в Анну.

Bitok шагнул вперёд, закрывая собой мать и сына.

Выстрел. Пуля обожгла плечо Bitok'а.

Роман выстрелил в последнего врага — точно в сердце. Тело осело.

Тишина. Пыль оседала медленно.

Анна стояла в чужой крови, неподвижно. Джонни прижался лицом к её шее.

Bitok повернулся. Кровь текла по рукаву. Рана была не глубокой.

Харрис подошёл, осмотрел.

— Повезло тебе. Сейчас перевяжу.

Пикап стоял за баррикадой — синий, потрёпанный, с вмятинами вместо краски. Харрис провёл рукой по капоту. Открыл дверь. Ключ был в замке. Двигатель кашлянул два раза и завёлся низким хриплым рыком.

Группа села. Анна с Джонни на заднем сиденье. Роман рядом с Харрисом впереди. Деметрий и Bitok в багажное отделение, на ящик с припасами.

Машина тронулась. Они медленно выехали из города, объезжая завалы и пустые машины.

Дорога пошла на север. Асфальт скоро кончился, сменившись грунтовкой, а потом красной землёй. Пыль встала густым хвостом за машиной.

Заправка появилась внезапно — ржавая вывеска «Shell», наклонённая колонка, разбитый магазинчик. Харрис сбавил скорость.

— Нужно проверить. Может, бензин остался.

Они остановились. Деметрий вышел первым с ножом. Вернулся быстро.

— Двое внутри. Женщины. Живые.

Роман вышел с револьвером.

В полумраке магазина стояли две женщины. Высокая, с короткими чёрными волосами, держала обрез. Молодая, светловолосая, сжимала металлическую трубу.

Высокая подняла обрез.

— Не подходите.

Роман опустил револьвер, но не убрал.

— Мы не трогаем. Едем на север. Нужен бензин, поменяем на еду и воду.

Высокая посмотрела на Джонни.

— У вас ребёнок.

Анна вышла из машины с Джонни на руках.

— Да. Ему семь.

Молодая шагнула вперёд.

— Меня зовут Элли. Это Мара.

Мара медленно опустила обрез.

— Мы здесь три дня. Еды почти нет.

Харрис посмотрел на колонку.

— Если бензин есть — поедем вместе. Места хватит.

Мара и Элли переглянулись. Элли кивнула.

— Бензин есть. Полбочки за магазином. Мы идём с вами.

Они заправили пикап. Мара и Элли взяли свои небольшие рюкзаки и сели назад — Элли рядом с Джонни, Мара напротив Bitok'a.

Машина тронулась.

Джонни посмотрел на Элли.

— Ты боишься?

Элли улыбнулась.

— Да. Но теперь меньше.

Мара молчала, глядя в окно. Пальцы крепко сжимали обрез.

Шёпот пришёл тихо:

«Они новые. Слабые. Замедлят. Умрут первыми».

Машина ехала дальше. Красный хвост пыли тянулся за ней.

Двигатель гудел низко. Пыль за окнами висела плотной стеной, но внутри было относительно тихо. Джонни дремал на коленях у Анны. Роман смотрел вперёд. Харрис вёл. Деметриус чистил нож. Bitok сидел напротив Мары. Элли молчала, теребя край куртки.

Мара смотрела в окно — на своё размытое красное отражение в стекле.

Она закрыла глаза и сразу заснула, во сне увидела свой дом.

Маленький деревянный дом на окраине Мельбурна. Двор

с пожухлой травой. Самодельные качели из старой шины. Том — высокий, с мозолистыми руками. Лия — пять лет, светлые волосы вечно в пыли. Бежит навстречу с криком «Мама!» и обнимает ноги.

Вечер. Они сидят за столом. Том рассказывает, как чуть не упал с лесов. Лия рисует дом, солнце и трёх человечков. Мара гладит дочь по голове.

Потом — ночь. Сирены. Небо становится красным. Люди кричат, стреляют.

Том хватает Лию.

— Бежим к машине!

Они добегают до гаража. Машина заводится. Том за рулём, Лия на заднем сиденье плачет.

Но улица уже забита. Они сворачивают в переулок. Там — группа вооружённых мужчин.

Один улыбается чёрными от дыма зубами.

«Отдайте девочку. Она не выживет с вами».

Том выхватывает нож. Выстрел. Том падает на руль. Кровь на стекле.

Лия кричит.

Мара хватает дочь и выпрыгивает из машины. Бежит через дворы и заборы.

Потом — тишина.

В чужом подвале Лия дрожит.

«Мама… папа где?»

«Папа придёт. Скоро».

Но папа не пришёл.

Утром Лия не дышала. Глаза были открыты, но уже не видели.

Мара долго сидела с ней, гладила волосы и шептала «прости».

Потом закопала под деревом. Без креста. Без имени.

И ушла одна.

Мара открыла глаза. Машина продолжала ехать. Пыль за окном.

Элли посмотрела на неё.

— Ты в порядке?

Мара кивнула медленно.

— В порядке.

Но пальцы на обрезе сжались сильнее.

Джонни шевельнулся во сне и прошептал:

— Мама…

Анна погладила его по голове.

Мара посмотрела на мальчика, потом на Анну и отвернулась к окну.

Дорога шла красной землёй, пикап трясся и кашлял. Джонни вдруг резко выпрямился у окна.

— Стойте! Стойте!

Харрис ударил по тормозам. Пыль поднялась густым красным облаком.

— Какого чёрта, пацан? — рыкнул он, не выключая мотор.

Джонни показал пальцем вперёд:

— Там! Кролик!

Метрах в тридцати на обочине сидел маленький серый кролик. Уши торчком, глаза чёрные и блестящие. Он не убегал.

Роман вышел первым, револьвер в руке.

— Домашний, у него на шее синяя верёвочка. Он смотрит прямо на нас, не боится. Странно.

Джонни выскользнул из машины раньше, чем Анна успела его удержать.

— Джонни, назад!

Мальчик подошёл медленно и присел на корточки.

— Привет… Не бойся меня.

Кролик дёрнул ухом, понюхал воздух и сделал маленький прыжок ближе. Коснулся носом пальцев Джонни.

Анна стояла у машины, руки сжаты в кулаки.

— Малыш, он может укусить…

Мара вышла последней, обрез на плече.

— Убьём? Мяса хоть немного будет.

Джонни повернулся так, будто его ударили.

— Нет! Он не еда! Он друг!

Анна подошла ближе.

— Джонни… еды почти не осталось. Скоро совсем нечего будет есть.

Мальчик упрямо покачал головой.

— Нет. Он друг. Я чувствую.

Кролик прыгнул ещё раз и прижался к его ноге.

Роман вздохнул.

— Ладно. Берём. Только чтоб не гадил в машине.

Харрис высунулся из кабины:

— Охренеть. Теперь у нас ещё и зоопарк на борту. Грузите своего ушастого, пока я не передумал.

Джонни осторожно поднял кролика двумя руками. Зверёк не сопротивлялся.

Когда все снова сели, Джонни устроил кролика у себя на коленях и осторожно погладил.

— Как назовём? — тихо спросила Элли.

Джонни подумал секунду и ответил уверенно:

— Роман. Как дядя Роман.

Роман повернул голову с переднего сиденья:

— Это ещё почему?

— Потому что ты первый увидел дорогу. И он тоже первый увидел нас.

Роман помолчал, потом коротко хмыкнул:

— Ну спасибо. Теперь я — кролик. Почётно, мать его.

Ночь пришла резко. Пикап остановился у сухого оврага. Двигатель весь день стучал всё громче.

Все вышли. Роман развёл маленький костёр. Пламя было слабым, но живым.

Харрис сразу открыл капот и включил фонарик.

— Опять ты со своим железом, — проворчал Роман. — Сядь уже, механик.

— Сяду, когда мотор перестанет стучать, — ответил Харрис грубовато. — А пока свети мне и не мешай под руку.

Он начал работать. Руки двигались быстро и уверенно.

Джонни тихо подошёл и встал рядом.

— Дядя Харрис… а у тебя была мастерская?

Харрис замер на секунду.

— Была.

— И дочь?

Харрис медленно выдохнул.

— Была. Эмма. Восемь лет.

Джонни сел на камень рядом.

— Расскажи про неё. Пожалуйста.

Харрис вытер руки о штаны и посмотрел на мальчика.

— Она приходила после школы, садилась на верстак, ноги не доставали до пола. Брала отвёртку вверх ногами и говорила: «Пап, смотри, я почти разобрала». Я показывал, как правильно. Она повторяла. Однажды разобрала старый радиоприёмник полностью, а потом собрала. Он заработал.

Он замолчал, потом добавил тише:

— А потом случился огонь. Я вытолкнул её в окно. Она упала на траву целая. А я остался внутри. Когда выбрался — её уже не было. Только крик висел в воздухе.

Джонни протянул маленькую руку и положил на плечо Харриса.

— Она бы гордилась тобой. Ты чинишь машину, чтобы мы ехали дальше.

Харрис посмотрел на него.

— Может… и гордилась бы.

Он закрыл капот и сел у машины спиной к костру.

— Завтра поедем дальше, — добавил уже спокойнее.

Костёр почти прогорел, остались только красные угли.

Анна не спала. Сидела, обхватив Джонни руками. Мальчик дремал, голова на её груди. Кролик лежал у его ног.

Она медленно гладила сына по спине, чувствуя каждую косточку под тонкой рубашкой.

— Мам… — прошептал Джонни, не открывая глаз.

— Я здесь, малыш.

— Холодно…

Анна плотнее укутала его плащом.

— Сейчас согрею.

Мальчик помолчал, потом тихо спросил:

— А папа… он бы боялся?

— Боялся бы, — ответила Анна. — Но всё равно держал бы нас. Как я тебя держу сейчас.

Джонни едва заметно кивнул.

— Если я не дойду… ты не плачь. Ладно?

Анна замерла.

— Ты дойдёшь, — прошептала она.

— Если нет… держи кролика. Он хороший.

Анна прижала лицо к его волосам.

— Я буду рядом, — сказала она еле слышно. — Всегда. Обещаю.

Джонни улыбнулся во сне.

— Хорошо…

Анна продолжала гладить его по голове.

— Я люблю тебя, — прошептала она.

Кролик Роман шевельнулся и прижался ближе к мальчику, грызя последние засохшие овощи.

Угли тихо потрескивали.

Анна сидела и держала сына так крепко как могла.

Утром выехали, дорога стала шире — просто красная земля до горизонта. Пикап ехал медленнее. Харрис жалел двигатель.

В кабине стояла тишина.

Джонни сидел у окна. Кролик Роман спал у него на коленях. Мальчик гладил его пальцем — медленно, от головы к хвосту. Глаза были полуприкрыты.

Анна держала сына за руку. Она смотрела вперёд, на спину Харриса.

Роман сидел впереди, револьвер на коленях. Стрелка бензина дрожала у красной зоны.

Мара и Элли молчали. Bitok сидел напротив Джонни и смотрел на тонкую шею мальчика.

Шёпот пришёл тихо:

«Видишь, как он слабеет? Глаза тускнеют. Дыхание становится короче. Скоро упадёт».

Bitok положил руку на плечо Джонни.

— Дядя Bitok… пыль не кончается? — спросил мальчик.

— Не кончается. Но мы едем сквозь неё.

— Как сквозь сон.

Машина ехала уже третий день без остановки — только короткие паузы, чтобы Харрис долил воды в радиатор и проверил масло. Двигатель начал стучать — тихо, но настойчиво.

Днём пыль стояла столбом — красная, густая, забивающаяся в щели. Ночью было холоднее, чем ожидалось. Джонни дрожал даже под плащом Анны. Кролик Роман жался к нему.

Они увидели их издалека. Три фигуры на дороге — силуэты в пыли. Не идут. Стоят. Ждут.

Харрис сбавил скорость. Роман поднял руку — кулак.

— Трое. Вооружены. Джонни, ложись на пол.

Мальчик послушался — лёг, кролик спрятался под его рукой.

Фигуры приблизились. Двое мужчин, одна женщина. Одежда рваная, лица в пыли и саже. У одного — винтовка. У второго — мачете. У женщины — пистолет.

Один поднял руку — стоп.

Харрис остановил машину полностью.

Голос мужчины был хриплым:

— Бензин. Вода. Еда. Отдадите — пройдёте.

Роман вышел первым. Револьвер наготове.

— У нас мало. Делимся — если не трогаете.

Мужчина усмехнулся.

— Делитесь. Или мы возьмём.

Женщина прицелилась в окно — туда, где Анна и Джонни.

Bitok вышел следом.

— У нас ребёнок.

Мужчина посмотрел на него.

— Тем лучше. Дети — хорошая валюта.

Выстрел.

От Мары.

Пуля вошла женщине в плечо. Та упала — крик короткий, резкий.

Второй мужчина рванулся — мачете вверх.

Деметрий шагнул вперёд. Удар ножом — быстрый, точный. Мужчина осел.

Первый выстрелил. Пуля прошла сквозь капот — двигатель закашлял громче.

Роман выстрелил дважды. Один в грудь. Один в голову.

Тишина.

Пыль осела медленно — красная, тяжёлая.

Мара стояла на месте. Обрез ещё дымился.

Элли опустила трубу.

Анна подняла Джонни с пола. Мальчик не плакал. Только дышал часто.

— Мам… они хотели нас?

Анна прижала его к себе.

— Уже нет.

Харрис посмотрел на капот — дыра. Масло текло чёрной струйкой.

— Едем. Пока ещё можем.

Двигатель стучал всё сильнее — каждый километр как удар молотка по стеклу, которое вот-вот треснет. Харрис вёл молча, пальцы на руле белые от напряжения. Пыль за окнами стояла стеной — красная, неподвижная.

Джонни сидел у окна. Кролик лежал у него на коленях, уши прижаты, глаза полузакрыты. Мальчик гладил его медленно, пальцем по спине.

Анна держала его руку. Она смотрела вперёд, на спину Харриса.

Роман чистил револьвер. Барабан щёлкал — раз, два, три.

Мара смотрела в окно — обрез на коленях. Элли рядом. Она иногда касалась руки Мары. Мара не отводила руку.

Bitok сидел напротив Джонни и смотрел на тонкую шею мальчика.

Шёпот пришёл — не громко.

«Ещё один день. Ещё один вдох. Скоро — последний. Зачем считать? Останови. Здесь. Тишина уже близко».

Bitok не ответил. Просто взял руку Джонни — ту, что не гладила кролика. Сжал легко.

Мальчик повернул голову.

— Дядя Bitok… а там, в Дарвине… есть вода?

Bitok кивнул.

— Есть. И люди. И, может, небо без пыли.

Джонни улыбнулся уголком рта.

— Я хочу увидеть небо. Настоящее.

Они остановились на закате —потому, что двигатель наконец сказал «хватит». Харрис заглушил мотор. Тишина упала мгновенно — густая, как пыль, которая осела вокруг машины.

Все вышли. Никто не говорил. Роман развёл маленький костёр из сухих веток. Пламя родилось медленно, но упрямо. Красное.

Джонни сидел ближе всех к огню. Кролик Роман на коленях — зверёк сильно ослабел. Мальчик гладил его по ушам — пальцы дрожали, но не останавливались.

Анна сидела рядом. Держала руку на его плече.

Харрис сидел напротив. Смотрел в пламя не моргая. Руки лежали на коленях пустые.

Мара и Элли — плечом к плечу. Мара чистила обрез механическими движениями. Элли сидела, обхватив колени, иногда поглядывая на Джонни.

Роман сидел чуть в стороне. Револьвер лежал рядом, стволом к огню. Он не чистил его. Просто смотрел.

Bitok стоял за кругом света, спиной к костру. Смотрел в ночь — туда, где пыль сливалась с чёрным.

Шёпот пришёл — почти шёпотом.

«Машина сломана. Скоро — все умрут. Джонни уже не встанет. Анна сломается. Ты будешь последним. И тогда — тишина. И тогда — безумие».

Bitok не ответил. Просто повернулся к костру.

Джонни поднял голову. Голос был тонким, но ясным.

— Дядя Харрис… машина больше не поедет?

Харрис кивнул медленно.

— Нет. Но мы пойдём. Пешком.

Мальчик посмотрел на кролика. Зверёк моргнул один раз, медленно.

— Роман тоже пойдёт?

Анна погладила сына по голове.

— Если сможет.

Джонни кивнул. Прижал кролика к груди.

— Он сможет. Он держится.

Тишина вернулась. Только треск костра.

Деметрий заговорил тихо, в огонь:

— В Эфиопии… мы тоже шли пешком. Долго. Огонь был единственным, что напоминало о доме.

Никто не спросил, что было дальше.

Мара подняла взгляд.

— Мы дойдём?

Вопрос повис. Никто не ответил.

Элли прошептала:

— Дойдём.

Утро пришло без звука. Просто свет — красный, тонкий, как нитка, которая вот-вот порвётся. Машина стояла намертво — капот открыт, масло вылилось чёрными потёками на земле. Никто даже не пытался её завести. Все знали.

Они шли пешком. Рюкзаки стали легче. Воды осталась только одна фляга. Харрис нёс её на поясе и не открывал.

Джонни шёл сам. Ноги были тонкие, как прутики. Каждый шаг — медленный, осторожный. Кролик Роман лежал в кармане его плаща, голова наружу, уши висели. Зверёк почти не шевелился.

Анна шла рядом. Держала сына за руку.

Роман шёл впереди — револьвер в кобуре, взгляд вперёд. Деметрий слева — нож на поясе, шаг ровный. Мара и Элли чуть сзади. Мара несла обрез. Элли — пустую сумку.

Bitok замыкал.

Они шли час. Два. Солнце поднималось — красное, без жара. Только свет.

Харрис остановился первым. Снял флягу. Посмотрел на всех.

— Осталось немного. На всех.

Он открыл крышку.

Протянул Джонни.

Мальчик взял флягу двумя руками. Сделал маленький глоток. Закрыл глаза.

Потом передал матери и кролику.

Фляга пошла по кругу. Роман. Деметрий. Мара. Элли. Bitok.

Последний глоток — Харрис. Он допил. Закрыл крышку и повесил обратно на пояс.

— Всё.

Джонни стоял на месте. Посмотрел вверх, на небо.

— Мам… я уже не чувствую жажды.

Анна замерла.

Джонни улыбнулся.

— Только тепло. Внутри.

Он медленно опустился на колени. Кролик Роман высунул голову из кармана и моргнул.

Джонни погладил его.

— Держись, Роман.

Анна опустилась рядом. Обняла сына.

Воспоминание: Эфиопия

Отец Деметриус сидел у костра последним — когда все уже легли, когда угли стали серыми, когда ночь стала густой, как масло. Он не спал. Смотрел в огонь.

Он увидел не дорогу и не пыль. Он увидел Эфиопию.

Горы. Тогда ещё зелёные.

Он был в специальном отряде.

Жена — Мариам. Дети — мальчик шести лет и девочка трёх. Маленький дом на окраине Аддис-Абебы. Окна всегда открыты. Запах кофе.

Он возвращался редко, но каждый раз привозил конфеты. Мальчик ел их медленно — по одной в день. Девочка — сразу, все разом.

Потом — приказ. Операция в горах. Три дня пешком без еды и воды. Только цель.

Цель была лагерем. Они вошли ночью. Тихо. Ножи. Глушители.

Всё кончилось быстро.

Когда он вернулся домой, дверь была открыта. Внутри стояла тишина.

Мариам лежала на полу. Горло перерезано. Мальчик — в углу, руки обрублены. Девочка — на кровати, голова вывернута неестественно.

Он стоял.

Потом взял нож. Тот самый.

И ушёл.

Он шёл месяцы. Через границы. Через пустыни. Через море — на лодке, где людей было больше, чем мест.

Греция. Лагерь беженцев. Новая тишина.

Он точил нож каждый день.

Деметрий открыл глаза. Костёр почти погас. Только угли.

Дорога горя

Ночь в каньоне была холодной и тяжёлой. Скалы поднимались почти вертикально, будто землю разрубили и бросили как есть. Внизу, на узкой полоске песка, тлел маленький костёр — почти одни угли.

Все сидели вокруг, но не близко. Каждый в своём куске света.

Джонни лежал, положив голову Анне на колени. Дышал часто и мелко. Кролик Роман прижался к его боку слабоподвижным комком. Анна медленно гладила сына по волосам.

Роман сидел спиной к каменной стене, револьвер на коленях. Харрис молча тёр руки старой тряпкой. Элли тихо привалилась к её плечу. Отец Деметриус крутил в пальцах нож, поднося лезвие близко к углям. Bitok сидел чуть в стороне, ближе к выходу из каньона, и смотрел в темноту.

Тишина тянулась долго.

Первым заговорил Роман — тихо:

— Как ты вообще ещё держишься?

Вопрос повис. Никто не ответил сразу.

Харрис хмыкнул, не поднимая глаз от рук.

— Хрен его знает… Всех потерял. Машина сломалась. Руки пока помнят, как работать, пока есть цель, пока держусь, стараюсь не думать об этом.

Мара едва заметно кивнула.

— Я ради тех, кого уже нет.

Элли подняла голову, голос сонный и хриплый:

— А я… просто люблю жизнь.

Отец Деметрий повернул нож. Лезвие слабо блеснуло красным.

— А я за него, — он чуть приподнял нож. — Пока он у меня — никто не победит меня.

Роман коротко усмехнулся.

— У меня шесть патронов. Пока есть — я ещё что-то могу.

Анна ничего не сказала. Только пальцы продолжали медленно двигаться по волосам Джонни.

Мальчик вдруг приоткрыл глаза и очень тихо прошептал:

— Я за маму… и за Романа.

И снова закрыл глаза.

Все замолчали.

Bitok долго смотрел в угли, потом сказал тихо, не глядя ни на кого:

— А я… за то, чтобы ещё суметь сказать «нет». Себе. Всему этому дерьму, что случилось с нашим миром. Тем более, он не реален. Мы в компьютерной симуляции.

Он поднял взгляд и обвёл всех по очереди.

— Вы все не реальны.

Тишина вернулась, но уже другая.

Джонни давалось дыхание всё тяжелее.

Костёр потрескивал.

Красные отблески лежали на усталых, грязных лицах.

Они сидели так ещё долго. Потом легли спать.

Утро в каньоне пришло серое и тяжёлое. Свет не поднимался — просто разливался тонкой серой пеленой.

Они шли молча. Джонни уже не шёл сам — Анна несла его на руках. Мальчик лежал тихо, голова на её плече, глаза полузакрыты. Кролик Роман лежал в кармане её куртки — жалобно смотрел в глаза и молча просил еды и воды, но ничем ему помочь никто не мог. Была лишь надежда что все справятся с такими невзгодами.

Группа двигалась рассредоточено, медленно и устало.

Выстрел пришёл внезапно. Один. Сухой, резкий.

Элли упала первой — без крика. Просто осела на колени, потом завалилась набок. Труба выпала из рук и звякнула о камень.

Мара развернулась мгновенно. Обрез вверх.

— Элли!

Второй выстрел прошёл мимо — пуля ударила в скалу, красная крошка брызнула в лицо.

Роман упал на одно колено, револьвер уже смотрел в сторону выстрела. Но больше ничего не было. Только тишина.

Мара бросилась к Элли, перевернула её на спину. Кровь быстро расплывалась по груди — маленькая дыра.

— Элли…

Элли моргнула один раз, два. Глаза были мутные.

— Мара… Я просто… устала.

Мара прижала ладонь к ране.

— Ты не умрёшь. Мы идём дальше. Вместе.

Элли слабо улыбнулась.

— Я уже… не иду. Ты иди… Ради меня. Ладно?

Мара кивнула.

— Ладно.

Элли закрыла глаза. Дыхание остановилось.

Мара сидела на коленях, руки в крови.

Анна стояла в стороне, крепко прижимая Джонни к себе. Мальчик смотрел на Элли.

— Она… уснула? — спросил он тихо.

Анна не ответила.

Роман медленно встал. Подошёл к Маре, положил руку ей на плечо.

— Снайпер. Один. Далеко. Не найдём.

Мара поднялась. Подняла обрез с земли. Голос был ровный:

— Давайте её похороним. Пока Роман и Отец Деметрий будут нас защищать.

Они рыли могилу голыми руками, не глубокую, кривую, на какую были силы. Через пару часов усердной работы, Элли была похоронена. Они поставили средних размеров камень, как надгробие, на Котором Отец Деметрий вырезал ножом её имя. Так же он отпел её, по-эфиопски.

Они пошли дальше.

Bitok шёл последним. Один раз оглянулся назад — на маленькую могилку, которая уже почти исчезла в пыли.

Шёпот внутри него был тихим:

«Ещё одна. Случайно. Скоро — твоя очередь».

Они шли уже который день пешком. Машина осталась далеко позади — с пробитым двигателем, с открытым капотом и чёрными потёками масла на красной земле.

Джонни почти не шёл. Мара несла его на руках. Мальчик был лёгкий, как сухая ветка. Голова лежала у неё на плече, глаза то закрывались, то открывались — медленно. Кролик Роман лежал в кармане куртки Анны —ему сегодня посчастливилось поесть какой-то кактус.

Анна шла рядом. Иногда касалась ладонью щеки Джонни.

Мара вдруг остановилась.

Она стояла посреди красной земли. Пыль медленно оседала вокруг неё.

— Я остаюсь, — сказала она тихо.

Анна шагнула ближе.

— Почему?

Мара посмотрела на неё, потом на Джонни.

— Потому что я уже умерла. Там, на дороге, вместе с Элли. Я просто иду за вами, как тень.

Она медленно сняла обрез с плеча и положила его на землю.

— Идите. Я посижу здесь.

Харрис сделал шаг вперёд.

— Мы тебя не оставим.

Мара ответила:

— Вы уже оставили. Мы не смогли спасти Элли.

Роман смотрел на неё долго.

— Если останешься — умрёшь.

— Я уже умерла, я хочу к ней — ответила Мара. — Просто тело ещё не поняло.

Джонни вдруг шевельнулся в её руках. Открыл глаза.

— Тётя Мара… Пожалуйста… иди с нами.

Мара посмотрела на мальчика. На его тонкую шею. На потрескавшиеся губы.

Она опустила голову и прижалась лбом к его лбу.

— Не могу… — прошептала она. — Я не могу жить… Без неё… Я попробую уйти...

Анна заплакала.

Мара подняла обрез с земли. Отец Деметриус попытался её остановить, но не успел. Мара выбила себе мозги дробью.

Опять пришлось хоронить голыми руками. Не смотря на запреты, Отец Деметриус всё равно её отпел. Сказал пусть его накажут, а не её. Не уберёг.

Никто не сказал больше ни слова.

Ночь пришла без перехода — просто свет погас, как будто кто-то выключил его рукой. Они остановились у края сухого русла. Не лагерь, просто место, где можно было сесть. Костра не разводили. Не из чего. И не зачем.

Джонни лежал на плаще Анны. Голова на её бедре. Дыха-

ние было коротким и редким — каждый вдох словно требовал отдельного решения. Анна сидела прямо, спина к камню, руки вокруг сына. Пальцы медленно гладили его по волосам.

Роман сидел напротив, спиной к стене русла. Револьвер лежал на коленях. Глаза открыты. Он смотрел в темноту.

Харрис лёг на бок, лицом к земле. Руки под голову. Обрез Мары лежал рядом. Отец Деметрий не сел. Он ходил маленькими кругами и пытался скрыть слёзы.

Джонни шевельнулся. Открыл глаза — мутные, но ещё живые.

— Мам…

Анна наклонилась ниже.

— Я здесь.

— Холодно…

Она плотнее укрыла его плащом и прижала к себе.

— Сейчас согрею.

Мальчик кивнул слабо.

— А кролик… он спит?

Анна коснулась рядом спящего кролика.

— Спит. Крепко.

Джонни улыбнулся уголком рта.

— Хорошо. Пусть спит…

Он закрыл глаза до утра.

Следующий день тянулся медленно. Они шли. Шаги стали не шагами, а просто автоматическим усталым действием. Джонни не шевелился. Лежал на руках у Анны — голова за-

прокинута назад, рот приоткрыт. Дыхание превратилось в редкие судороги груди. Раз в минуту. Раз в две.

Анна несла его молча. Руки онемели давно, но она не перекладывала.

Джонни вдруг открыл глаза — на миг.

— Мама…

Голос — тоньше паутины.

Анна наклонилась ниже.

— Я здесь.

— Воды… нет?

Анна покачала головой.

— Нет. Но мы идём. Там будет.

Джонни кивнул едва заметно.

— Хорошо…

Он закрыл глаза.

Они шли дальше.

Роман вдруг остановился.

Все замерли.

На красной земле перед ними лежали следы. Маленькие. Детские. Босиком. Свежие. Они уходили влево — к невысокому холму.

Роман присел. Коснулся одного следа пальцем.

— Ребёнок. Один. Прошёл совсем недавно.

Отец Деметрий подошёл ближе. Присел рядом.

— Шёл быстро. Испугался чего-то.

Харрис посмотрел на следы.

Анна стояла со свёртком в руках. Не подошла. Только крепче прижала Джонни к себе.

— Мы не свернём, — сказала она тихо, но твёрдо.

Роман встал. Кивнул.

— Не свернём.

Он шагнул вперёд — прямо. Следы остались слева — тонкая цепочка в пыли.

Они пошли дальше.

Джонни вдруг слабо шевельнулся в руках Анны.

— Мама…

— Я здесь.

— Там… кто-то был?

Анна посмотрела на следы, которые уже остались позади.

— Был. Но мы не пойдём туда.

Джонни едва заметно кивнул.

— Хорошо…

Он закрыл глаза.

Дыхание Джонни стало очень редким — короткая судорога груди, потом длинная пауза.

Джонни вдруг открыл глаза — медленно, с трудом.

— Мама…

Голос был едва слышен.

Анна наклонилась ниже.

— Я здесь.

— Пыль… везде…

— Знаю.

Мальчик моргнул. Очень медленно.

— Она… дышит вместо меня?

Анна сжала губы.

— Нет. Ты дышишь. Мы все дышим.

Джонни попытался улыбнуться — получилось только слабое движение уголком рта.

— Хорошо…

Он закрыл глаза. На всегда.

Брисбен лежал впереди — не город, а скелет. Дома без крыш, улицы завалены ржавыми машинами, пыль на асфальте — толстый слой. Они шли через него молча — цепочка теней.

Джонни был мёртв. Тело завернули в плащ Анны — маленький свёрток, который она несла на руках.

Они вошли в центр — бывшая площадь, теперь просто круг из обгорелых зданий. В центре — колодец. Крышка сорвана. Тёмная дыра.

Роман поднял руку — стоп.

— Проверим. Может, вода.

Харрис кивнул.

— Я спущусь.

Он подошёл к краю. Верёвка — старая. Обвязал вокруг пояса.

— Если что — тяните.

Отец Деметриус и Роман взяли конец.

Харрис спустился — медленно, в темноту.

Тишина. Только шорох верёвки.

Потом — голос снизу:

— Воды нет. Только грязь. Но… здесь люди. Живые.

Потом — выстрел. Один. Сверху.

Пуля вошла Харрису в грудь — когда он уже вылезал наполовину.

Он замер. Руки на краю колодца.

Кровь потекла по рукам, по верёвке.

— Бегите… — выдохнул.

Второй выстрел — в голову.

Тело Харриса осело. Свалилось в колодец — глухо.

Верёвка дёрнулась резко.

Отец Деметрий и Роман упали назад.

Тишина.

Потом — голоса из зданий. Тени в окнах.

— Они здесь! Берите ребёнка!

Роман встал. Револьвер в руке.

— Уходим. Сейчас.

Они побежали.

Выстрелы — за спиной. Пули свистели мимо.

Они бежали через площадь — через обгорелые машины, через тела.

Bitok — последний. Оглянулся один раз.

Тело Харриса — внизу, в колодце. Кровь на краю.

Шёпот внутри — громко.

«Ещё один. Помер. Скоро — ты».

Bitok не ответил.

Они вышли из Брисбена на рассвете. Город остался позади — дым ещё висел над крышами, но выстрелы стихли. Никто не оглядывался. Харрис лежал в колодце. Джонни — в руках Романа.

Они уже не шли в одну линию. Группа растянулась — каждый чуть в своём ритме.

Анна шла впереди — одна. Шаги были уже не шагами, а просто падением вперёд, которое почему-то не заканчивалось. Пыль не цеплялась за одежду. Она уже стала одеждой — красной коркой на коже, на губах, на глазах.

Свёрток с Джонни лежал в руках Битка. Анна больше не просила его взять. Не могла.

Она шла и вспоминала мужа.

Она видела его в тот последний вечер. Он обнял её так крепко, что она почувствовала, как его сердце бьётся. «Я люблю вас. Обоих. Навсегда».

Она тогда уже почувствовала — это прощание. Но не спросила. Просто держала его.

Утро. Он ушёл. Не вернулся.

Потом — Джонни. Пятилетний. Сидел на кухне и рисовал отца карандашом. «Мам, папа вернётся?»

Она отвечала: «Вернулся бы. Если б мог».

Она лгала ему каждый день.

А теперь — и сына нет.

Анна шла, и каждый шаг был ударом.

«Я лгала ему. Я лгала тебе. Я лгала себе. Я говорила, что мы дойдём. Говорила, что ты ждёшь нас. А ты ушёл. А он умер. А я всё ещё иду».

Она не плакала. Слёзы кончились давно.

Она просто шла.

И внутри неё муж и сын шли рядом.

Анна не просила взять сына. Не хотела касаться.

Она просто шла.

И несла их обоих — внутри.

Каждый вдох был предательством.

«Почему я ещё жива? Почему я не легла рядом с ним в той пыли? Почему я не умерла первой? Почему я до сих пор иду?»

Ночь упала внезапно — как тяжёлая крышка. Свет просто погас, и остались только тени и дыхание.

Джонни лежал рядом с Анной — свёрток, неподвижный и холодный. Роман сидел у камня, револьвер лежал на коленях — пустой. Деметрий сидел на корточках, нож воткнут в землю перед ним. Bitok сидел чуть дальше всех, спиной к группе, глядя в темноту.

Никто не говорил.

И впервые за всё время — шёпот внутри Bitok'а тоже молчал.

Полностью.

Эта тишина была страшнее любого шёпота.

Bitok сидел и слушал. Внутри — пусто.

Анна сидела неподвижно, прижавшись спиной к камню. Она не смотрела на свёрток. Не гладила его. Просто сидела — и рыдала, иногда всхлипывая, почему не она?

— Я держала тебя, когда ты уходил… — прошептала она. — Я чувствовала, как твой последний вдох стал паузой. И я всё равно ждала.

Роман не двигался. Револьвер лежал на коленях. Он смотрел на него.

Деметрий сидел, не отрывая глаз от воткнутого ножа. Рукоять торчала вверх. Он просто смотрел.

Тишина была полной.

Bitok закрыл глаза.

Внутри него не было никакого голоса. Только пустота.

Теперь он остался наедине с самим собой.

Наступило время выдвигаться и они просто шли — как сломанные механизмы, которые по инерции продолжают работать.

Девятый, десятый, одиннадцатый день без машины слились в один бесконечный серый кошмар. Время потеряло смысл. Остались только пыль, горе и тяжёлая усталость, которая проникла даже в кости.

Роман посмотрел на горизонт и тихо произнёс:

Стены. Город.

Не сразу поверили.

Сначала подумали — мираж.

Но стены не исчезали.

Высокие. Бетонные. Обвитые колючей проволокой.

Ворота Дарвина.

Они остановились.

Никто не закричал.

Анна первой сделала шаг вперёд.

— Идём, — сказала она тихо. — Пока можем. Последние сотни метров.

Шатаясь. Падая. Вставая. Но не сдаваясь.

Врата Дарвина

Они доползли.

Не пришли. Не дошли. Именно доползли — на последних остатках сил, когда ноги уже не поднимались, а просто волочились по красной земле.

Дарвин возник внезапно — высокая серая стена, обвитая колючей проволокой. Закрытые железные ворота. Над ними — фигура человека.

Они остановились в пятидесяти метрах. Дальше уже не могли. Просто стояли, шатаясь.

Фигура на стене начала спускаться. Огромный мужчина, коротко стриженный, плечи как у быка. Когда он подошёл ближе, стало видно: лицо в пыли и саже, неухоженная борода, глаза красные.

Он остановился в десяти шагах и осмотрел их.

— Кто такие? — голос низкий, грубый, с тяжёлым русским акцентом.

Роман сделал полшага вперёд.

— Выжившие. Из Сиднея. Идём давно.

Мужчина посмотрел на них по очереди. Задержался взглядом на Анне и свёртке.

— Сколько вас было?

Роман ответил не сразу.

— Больше.

Мужчина кивнул.

— Я Александр Чуйков. Комендант Дарвина.

Он кивнул на свёрток.

— Ребёнок?

Анна только крепче прижала свёрток.

Мужчина понял. Не стал давить.

— Ворота открыты только для тех, у кого есть иммунитет, — сказал он. — Если вы прошли так далеко. То, наверное, у вас с ним всё в порядке.

Роман поднял голову.

— Мы слышали тебя по радио и пришли.

Александр долго смотрел на них. Потом кивнул.

— Проходите.

Ворота открылись со скрипом — тяжело.

Кролик, начал метаться от страха от звука. Они вошли в город. Едва переставляя ноги.

Александр шёл рядом — не помогал, но и не торопил. Лишь взял кролика на руки.

—Теперь ты будешь жить здесь, друг. Как его зовут?

—Роман, так его назвал мой сын, он умер, если хотите, забирайте себе, мне от него лишь больней. Сказала Анна.

—Хорошо, я так и сделаю, теперь будет моим.

Внутри Дарвина было тихо. Улицы узкие, заваленные

ящиками и старыми машинами. Люди — ставшие редкостью. Смотрели молча.

Александр остановился у большого бетонного здания.

— Здесь можно отдохнуть. Вода есть. Еда есть. Немного, но хватит.

Он посмотрел на Анну.

— Ребёнка похороним. По-человечески. Если хотите.

Анна кивнула.

— Хотим.

Александр посмотрел на остальных.

— Работаем как можем и сколько можем. Это единственное правило.

Он повернулся и пошёл дальше.

Они остались стоять.

Анна прижалась лбом к свёртку.

— Мы дошли… — прошептала она.

Внутри неё было пусто.

Но впервые за долгое время она в безопасности, но не чувствовала ничего, кроме пустоты внутри.

Александр привёл их в небольшую комнату с одним столом и несколькими стульями. Свет от лампы был жёлтым.

Он поставил на стол старую жестяную банку. Этикетка выцвела — «Сгущённое молоко».

— Это то что я любил с детства, хочу с вами поделиться, это вкусно.

Открыл банку ножом. Белая густая масса внутри.

Раздал по ложке каждому.

Александр сидел напротив.

— Ешьте медленно, — сказал он. — Иначе будет плохо.

Анна подняла глаза.

— Почему ты отдал последнее?

Александр пожал плечами.

— Потому что вам нужнее.

Он посмотрел на свёрток, который Анна держала на коленях.

— Ребёнка… похороним сегодня, вечером, как придут мои люди с охоты. Похороним По-человечески.

Анна кивнула.

— Спасибо.

Они ели молча.

Далее Александр привёл их в старый спортзал — большое бетонное помещение с потёртым полом, турником, штангами и грушей в углу.

— Здесь моя медитация, — сказал он. — Не в еде. Не в словах. В теле.

Он подошёл к турнику, подтянулся один раз.

— Каждый день. Подтягивания. Отжимания. Приседания. Бег на месте до упаду.

Анна села на мат у стены. Свёрток лежал рядом. Она не двигалась.

— Я не могу, — сказала она тихо.

Александр кивнул.

Он подошёл к груше. Ударил один раз. Груша качнулась.

— Бейте, когда не можете больше думать.

Роман смотрел на турник. Потом подошёл. Подтянулся один раз. Второй. На третьем сорвался. Сел на пол.

Деметрий стоял в стороне. Смотрел на нож в своей руке.

— Я уже не помню, как жить без ножа.

Александр посмотрел на него.

— Тогда бей грушу ножом. Только потом как поправишься, восстанови её.

Bitok стоял у стены. Не двигался.

Александр подошёл к нему.

— Ты самый тихий. Почему?

Bitok ответил не сразу.

— Тишина. Шёпот пропал.

Александр кивнул.

— Значит, начинай с самого простого. Просто дыши. И двигайся.

Они остались в спортзале.

Кто-то бил грушу. Кто-то пытался подтягиваться. Кто-то просто сидел и смотрел.

Похороны были простыми. Маленькая могила за внутренней стеной. Без креста. Без имени. Только камень сверху. Похоронили в обнимку с игрушкой. Когда землю засыпали, Анна стояла неподвижно.

— Я не смогла тебя защитить, — прошептала она, когда все отошли. — Я лгала тебе до последнего. Говорила, что мы

дойдём. А сама знала, что не дойдём. Прости меня…

Она стояла у могилы долго. Никто не торопил.

Наконец им дали еду — горячую кашу с кусочками тушёнки. Александр принёс миску Анне лично.

— Ешь, — сказал он. — Ты должна жить.

Анна взяла ложку. Первый глоток прошёл тяжело. Она ела. Слёзы капали в миску.

— Я не заслужила это, — прошептала она. — Он не доел. А я ем.

Александр сел напротив.

— Заслужила. Потому что дошла. Потому что несла его до конца. Потому что до сих пор дышишь.

Анна не ответила. Просто ела дальше.

На четвёртый день в Дарвине Александр поднялся на крышу одного из складов. Высокую, плоскую, с видом на всю внутреннюю часть крепости и красную пустыню за стеной.

Он стоял у края, руки в карманах.

Bitok поднялся следом. Медленно.

Александр не обернулся.

— Садись, — сказал он. — Здесь тихо.

Bitok сел на бетонный парапет, спиной к стене.

Долго молчали.

Потом Александр заговорил первым:

— Ты не тот, кем был раньше.

Bitok поднял взгляд.

— Откуда знаешь?

— Имя слышал. Джекс «Bitok» Кейн. Тот, кто слил всё, что можно было слить. А потом исчез.

Bitok смотрел на пустыню.

— Не исчез. Просто дошёл сюда.

Александр кивнул.

— Ты изменил не только имя. Ты изменил себя.

Bitok молчал.

Александр продолжал тихо:

— Я тоже менял имя. Когда-то был Аароном. Потом стал Александром. Потому что Аарон умер вместе с теми, кого не смог защитить.

Он повернулся и посмотрел на Bitok'а прямо.

— Ты тоже умер там, в пыли. Но тело ещё идёт. Почему?

Bitok долго думал перед ответом.

— Потому что однажды сказал «нет». И до сих пор не научился говорить «да».

Александр усмехнулся.

— Знакомо.

Они снова замолчали.

Пошёл второй месяц. И впервые за всё время стало по-настоящему тихо.

Не то что бы в пустыне было шумно, но там было по-другому. Давяще.

Анна сидела на своей кровати, спиной к стене. Руки лежали на коленях ладонями вверх. Она не двигалась. Не го-

ворила. Просто плакала — медленно, ровно.

Роман сидел у окна. Смотрел в окно, на океан. И слушал радио. События в мире становились всё более зловещими. Но даже в безопасности он держал при себе револьвер, выпросив для него пару пачек патронов у шерифа.

Отец Деметриус сидел в углу. Ножом наносил себе не глубокие порезы. Что-то шепча про себя.

Bitok стоял у двери. Прислонившись спиной к косяку. Он смотрел на остальных.

Анна первой нарушила молчание. Голос был тихий, почти беззвучный:

— Я больше не чувствую его запаха… Бедный Джонни…

И начала опять громко рыдать.

Роман не поднял глаз от револьвера.

— А я слышу, как Джонни смеялся, когда нашёл того кролика. Всё время слышу.

Отец Деметрий тихо добавил:

— А я слышу крик своей дочери. Каждый раз, когда закрываю глаза. Слышу Элли и Мару, слышу, как упал в колодец наш механик, который пожертвовал и машиной, и жизнью, чтоб выжили мы.

Bitok молчал дольше всех.

Потом сказал — почти без эмоций:

— А у меня внутри теперь пусто. Шёпот пропал. И я не знаю, что хуже — когда он был, или когда его нет. Я не знаю,

живём-ли мы в симуляции?

Анна закрыла проплаканные глаза.

— Я устала помнить. Но ещё больше устала забывать. Какого это, быть матерью.

Fiat

lux

in

Agonia

Металл в часовне

Чёрный дым фабричных труб висел над окраиной Рима, как вечное проклятие — сажа и пот тех, кто гнулся над машинами ради ещё одного дня. Внутри часовни запах ладана мешался с плесенью стен, помнивших слишком много слёз и слишком мало чудес. Алтарь — простой: потрёпанный деревянный крест из чьей-то старой двери, оплывающие свечи, как невыплаканные слёзы, и Павел — священник без имени, потому что имя его звучало слишком обыденно для человека с трещиной в душе, сквозь которую сочилась тьма.

Прихожане на скрипучих лавках: старушки в чёрных платках, лица изъедены временем и голодом, как копчёные иконы; бомжи с глазами-углями, цепляющиеся за надежду на хлеб; дети с грязными косичками и взглядами, уже знающими вкус предательства. Они пришли не за словами — слова дёшевы. За супом из объедков, перевязкой, молчаливым присутствием без суда.

Сегодня иначе. Павел стоял у алтаря, пальцы дрожали на грифе гитары — склеенной из осколков, пропитанной кровью его ночных самоистязаний. Струны липкие от пота, корпус — как его душа. Он смотрел на них: усталость в глазах, та же, что и в нём — от молитв, что тонут в пустоте.

«Отцы и матери наши, — голос хриплый, как после ночи в подворотне, — сегодня я не шепчу. Сегодня пою. Бог лю-

бит не только тишину. Он любит гром — тот, что разрывает небо на Синае, бьёт в землю и рождает жизнь из пепла. Если ошибаюсь — пусть ударит молнией здесь. А если нет…»

Пальцы легли на струны. Первый аккорд — тихо. Потом сильнее. Рифф родился из боли: низкий, тяжёлый, с имитацией дисторшна, струны до крови. «Ego sum lux mundi» — проревел он в самодельный микрофон. Латынь смешалась с музыкой, как гром с эхом в костях.

Звук разорвал тишину, как нож кожу. Свечи дрогнули, пламя потянулось к алтарю, вспыхнуло ярче. Старушки вздрогнули, одна перекрестилась, другая схватилась за сердце — но не ушла. Бомжи выпрямились, в глазах искра. Дети замерли — рты открыты, восторг вместо страха.

Павел ревел псалом под риффом боли: отец с ремнём за каждый аккорд, мать с кровоточащими пальцами, ночи в подворотнях с «Отче наш», эхом пустоты. Гитара стонала, струны резали до кости, кровь капала — жертва: «Ты слышишь? Почему гром на Синае? Почему молнии? Почему агония, а не шепот?»

Воздух задрожал, витражи затрещали. Старушка встала — глаза мокрые — подняла руки, хлопнула. Бомж подхватил. Дети засмеялись — от ощущения настоящего.

Но шёпот вернулся громче риффа: «Ты недостоин. Гордыня. Осквернил святое». Аккорд зафальшивил, латынь сломалась. Он замер — лица прихожан сияли, но с сомнением.

Вошёл мужчина в потрёпанном пальто, лицо в язвах. Сел

сзади — от него веяло холодом души. Когда рифф возобновился — яростнее, с кровью — мужчина зарычал. Глаза вспыхнули красным, кожа лопнула, чёрная слизь потекла.

«Демон. Первый».

Павел не остановился. «Exorcizamus te, omnis immundus spiritus» — под дисторшном, как когти. Звук ударил — одержимый выгнулся, кости трещали, слизь хлестнула, шипя.

Павел шагнул ближе. Гитара ревела, пальцы кровоточили. Внутри отозвалось — гром, жгущий вены.

Одержимый прыгнул на алтарь, свечи упали. Павел ударил гитару как дубину — дробовик в корпусе рявкнул, освящённая соль попала в плечо. Чёрная кровь брызнула. Старушка схватила крест, ткнула в тварь.

Демон корчился, слизь разъедала камень. Павел пел хрипло: «Vade retro, Satana!» Струны резали до кости, кровь делала звук гуще.

Тварь рванулась — когти у горла. Свет от витража вспыхнул — демон лопнул, чёрный дым вырвался с именами загубленных и рассеялся.

Тишина — тяжёлая, после бури. Прихожане смотрели — слёзы, огромные глаза. Старушка на коленях: «Ты спас нас». Бомж кивнул — искра не гасла. Дети обняли ноги — слёзы смешались с кровью.

Павел стоял, гитара дрожала, пальцы липкие. Шёпот: «Ты недостоин. Случайность». Но на миг — тепло, как улыбка в темноте: «Я люблю гром».

Он опустился на колени — от боли. Кровь смешалась с чёрной слизью — трещина в душе теперь пропускала не только тьму, но и свет.

«Ты услышал? — прошептал он кресту. — Или обманываю себя?»

Первая Гитара

Осень пахла мокрым асфальтом, ржавыми трубами и дешёвым супом из пакетов — мать варила на двоих, на себя и сына. Отец, ел на работе. Павлу девять. Худой, как тростинка, которую сломаешь одним пальцем. Глаза слишком большие для худощавого лица — тёмные, с жёлтыми искрами, будто внутри кто-то зажёг спичку и забыл потушить.

Дом — мизерная щель между многоэтажками. Стены сочились сыростью, пол скрипел, будто под ним кто-то бродил без выхода. Одна кровать на всех: матрас в пятнах-синяках, отец у стены — храп и перегар в потолок, мать посередине — сгорбленная, извиняющаяся за место, Павел с краю — ближе к двери, на случай побега.

Он не спал ночами. Не от страха побоев — к ним привык, как к дождю. В темноте рождался звук. Сначала гул в ушах, как далёкий поезд. Потом ритм. Потом мелодия, которой ещё не было, но она уже жила в нём — паразит, питающийся надеждой. Лёжа, глядя в трещину потолка, он представлял: если бы у него была гитара — сыграл бы так громко, что отец проснулся, послушал, заплакал, обнял, сказал: «Сын, прости».

Гитары не было.

На следующий день после школы — на свалку за заводами. Запах гнили, ржавчины и сладковатой смерти. Павел ла-

зил по кучам — ботинки в дерьме, руки в мазуте — и увидел.

Гитару.

Корпус треснут, деку вырвало, струны отсутствовали, гриф выгнут, будто сломать пытались и не смогли. Лежала в чёрной луже среди банок и проводов. Сердце стучало так, что вот-вот выскочит.

Вытащил двумя пальцами — осторожно, как живое. Тяжёлая, мокрая, холодная. На обороте деку — корявая надпись, выжженная: «Non degno». Недостоин.

Прижал к груди. Пахла плесенью, мазутом, старой болью. Он стоял посреди свалки, обнимая кусок дерева, и впервые почувствовал: внутри есть что-то своё.

Дома спрятал под кровать — в дальний угол, куда даже пьяный отец не полезет. Ночью вытащил. Пальцы дрожали. Провёл по отсутствующим струнам — ржавые обрывки резали кожу. Кровь выступила — яркая, чистая. Не отдёрнул руку. Смотрел, как капли впитываются в трещины.

«Если недостоин играть — пусть болит по-настоящему».

Взял леску из отцовской коробки — тонкую, прочную. Натянул вместо струн. Пальцы кровоточили, леска резала до мяса. Первая струна готова — тронул. Звук тонкий, жалобный, как плач в подворотне.

Играл тихо — чтобы не разбудить. Пальцы скользили по леске, кровь текла по грифу, капала на пол. И почувствовал: кто-то слушает...

В углу, где свет фонаря не доставал, сгустилась тьма —

густая, как мазут. Из неё шёпот — низкий, ласковый, почти материнский:

«Ты недостоин даже этого. Украл чужую боль и назвал музыкой. Лжец, Павел. Лжец».

Пальцы застыли. Кровь — кап-кап-кап — как метроном.

Шёпот внутри уха, черепа, сердца:

«Брось. Разбей. Или она сломает тебя».

Павел сжал гитару сильнее. Кровь стекала под рукав. Посмотрел в угол — тьма шевелилась.

«Нет. Если недостоин — пусть сломает. Но я сыграю».

Ударил по струнам — резче, чем хотел. Звук рваный, как крик. Отец заворочался. Мать вздохнула. Тьма дрогнула — отступила глубже, под кровать, в тень. Ждала.

Играл до утра. Пальцы — месиво, леска красная от крови. Когда рассвело — спрятал. Лёг рядом с матерью — дрожащий комок. Она не проснулась. Только положила руку на лоб — тёплую, израненную, пахнущую нитками и потом.

Впервые он чувствовал себя живым и достойным

Чёрный винил

Павлу десять. Отец третий день не появлялся — значит, либо в канаве с бутылкой, либо с новой женщиной, которая ещё верит, что его побои и грубость. Мать не интересовалась. Она шила — день и ночь. Игла входила в ткань с тихим чавканьем, как нож в мясо. Пальцы в вечных ранках: проколы, кровь на белом, мать быстро вытирала тряпкой, чтобы заказчик не увидел. «Кровь — это жизнь, — говорила она. — А жизнь дешёвая». В голосе — трещина, тонкая, как нитка, которую она рвала зубами, когда руки отказывали.

Павел не спал. Лежал на полу в старом пальто отца — перегар, пот, кислая вонь внутри. Смотрел в потолок: чёрная трещина постепенно росла. Слушал, как мать дышит во сне — коротко, с присвистом, будто каждый вдох — бой. Тишина давила, как мокрый матрас. В ней рождался звук: гул в ушах, как далёкий поезд. Потом ритм. Низкий. Тяжёлый. Бил молотом по рёбрам изнутри. Павел сжимал кулаки — ногти в ладонях, красные полумесяцы, — но звук становился лучше, увлекал его. Знал: если не выпустить эмоции — разорвёт, как мать, плачущую по ночам тихо, чтобы никто не услышал.

На следующий день после школы — на свалку за заводами. Запах гнили, ржавчины, сладковатой смерти. Лазил по кучам — ботинки в дерьме, руки в мазуте, колени в саже,

въевшейся как татуировка нищеты. И увидел.

Пластинку.

Чёрный винил, потрескавшийся, этикетка облуплена. Только «Sabbath» читалось — жирными кроваво-красными буквами, будто пальцем в ране. Вытащил двумя пальцами — осторожно, как живое. Холодная, мокрая, тяжёлая как грехи его отца. На обороте — корявая надпись: «Любимое».

Прижал к груди. Сердце стучало — вот-вот вырвется. Пальцы оставили мазутные следы. «Теперь моя. С грязью и всем».

Дома спрятал под матрас — в дальний угол, куда пьяный отец не полезет. Ночью, когда мать уснула, вытащил старый проигрыватель — с помойки, работал только если давить всем весом. Поставил пластинку. Пальцы дрожали, ладони вспотели. Игла коснулась дорожки — хруст, как ломающаяся кость не сразу. Звук царапнул нервы, Павел затаил дыхание.

И началось.

Низкий гул — земля дышит под полом. Вибрация через доски, ноги, живот, грудь — сердце сбилось. Удар барабанов — тяжёлый, как кулак отца по столу, каждый бил в рёбра, боль почти приятная — чужая, но своя. Бас — глубокий, давящий в живот, как холодный нож, не режет, а показывает пустоту. Гитара. Рифф. Медленный, злой — рвут струны из груди, кричат от боли, не останавливаются.

«War Pigs».

Павел сидел на полу, обхватив колени. Голос Оззи — хриплый, надрывный, горло разодрано гвоздями, кровь и виски — пел о генералах, войнах, проданных душах. Но Павел слышал крик. Боль. Ярость. «Я ещё жив».

Музыка прошла через него разрядом: бас бил в живот — тошнота, почти оргазм; гитара резала уши ножом; барабаны молотили по черепу, мигрень сладкая, заглушала тишину.

Вкус крови во рту — прикусил губу. Солёный, металлический, смешался с пылью пластинки. Пот холодный по спине, рубашка — вторая кожа. Жар внутри — лихорадка от музыки.

Закрыл глаза — увидел: отец бьёт мать, но вместо криков — рифф; игла матери — удар барабана; он крадёт хлеб — бас в животе делает голод силой.

Это была молитва. Громкая. Кричащая. Но честная и личная. «Я здесь. Я молюсь. Услышь или ударь молнией, но не молчи».

Слёзы горячие по щекам —рыдал без всхлипов. Боль лопнула гнойником — облегчение с отчаянием.

Пластинка доиграла. Тишина вернулась — пустая, как выжженное поле.

Павел открыл окно. Ночной Рим — холод, выхлопы. Сирена вдалеке. Вдох — воздух острый, лёгкие очистились.

Посмотрел на пластинку — чёрную, потрескавшуюся, кроваво-красные буквы. Это не музыка. Молитва с привкусом боли. Рок стал его молитвой — крик в ночи, который

слышит только тот, кто готов слушать боль.

Спрятал обратно. Лёг рядом с матерью. Она вздохнула во сне — устало, воздуха не хватало даже там.

В углу, где свет не доставал, тьма шевельнулась. Шёпот — тихий, ласковый, почти материнский:

«Ты думаешь, это Бог? Это я. Я всегда был в тебе. Гром — не молитва. Это моя песня. И она сломает тебя».

Павел закрыл глаза. Кровь капала с губы — кап-кап-кап. Метроном судьбы.

Не ответил.

Но улыбнулся — слабо, коряво, впервые по-настоящему.

Потому что теперь у него была музыка.

И он знал: музыка не умолкнет. Даже если истечь кровью до последней капли.

Нищета

Павлу одиннадцать. Нищета была воздухом — густым от плесени, дыма дешёвых сигарет и мокрого кашля отца, будто лёгкие его сгнили изнутри. Дом — щель между обшарпанными многоэтажками — пропитан ею: стены сочились сыростью, как открытые раны, пол скрипел, как кости на изломе, потолок капал в ржавые тазы, вода становилась коричневой от грязи и крови с материнских рук. Мебель пахла потом и отчаянием — кровать, стол из обломков, стул без спинки.

Отец — тень, оживающая ночами. Когда-то сильный, теперь согнутый, руки в венах-корнях, всегда пахли перегаром и маслом. Бил не всегда — только когда пил. Кулак в плечо, ремень по спине, пинок в живот. Спина Павла — рубцы старые белые и новые красные, сочащиеся сукровицей, трескалась при движении. «Музыка дьявола, — рычал отец, слыша тихие струны под кроватью. — Притащил сатану в дом!» Ремень свистел, впиваясь в кожу, оставляя полосы огня, кровь стекала горячая, липкая.

Мать — хрупкая, как птичка с перебитыми крыльями. Сидела в углу, шила. Игла чавкала в ткань, пальцы — карта боли: порезы, волдыри, гной жёлтый, сладковато-гнилостный. Шила для богатых — платья, костюмы, — каждый стежок молитва: «Господи, дай хлеб, дай пережить день». Кровь капала на белое, она вытирала тряпкой, смоченной в перекиси:

«Не заметят». Раны гноились, краснели, распухали — она морщилась, но игла входила снова. Она не могла остановиться. Не могла разрешить себе болеть

Павел прятался в музыке. Пластинка Black Sabbath — ночами, давя на проигрыватель всем телом. Бас Тони Айомми бил в грудь, как молния, сердце в унисон с барабанами Билла Уорда. Голос Оззи — хриплый, надрывный — кричал из другого мира: не шептать молитвы, а орать их в лицо Богу. «War Pigs» разрывал тишину: рифф входил в уши, спускался в живот кислотой, выходил через пальцы, дёргающиеся в воздухе. Вкус металла во рту — кровь от прикушенной губы. Пот холодный по спине. Музыка показывала: боль — не слабость, сила. Сила оставаться человеком, а не превращаться в бесчувственную машину. Оззи пел о генералах и войнах — Павел слышал об отце.

Отец услышал. Ночью, когда Павел поставил громче — звук заполнил щель. Дверь распахнулась. Отец в проёме — глаза красные, перегар хлестнул. «Музыка дьявола!» Проигрыватель полетел, пластинка покатилась по полу. Кулак в плечо — кость хрустнула. Ремень свистел — разрывал рубашку, кожу, кровь хлестала. Павел не кричал — кусал губу до крови, слёзы жгли. Мать шептала: «Не надо», но отец бил, пока спина не стала кровавым месивом, лужа красная блестела в свете фонаря.

Отец упал на кровать, хрипя орал. «Чтобы больше этой фигни не было. Или сломаю тебя, как пластинку».

Павел лежал на полу — спина горела, кровь стекала по ногам. Мать подошла тихо, села, положила руку на голову — пальцы дрожали, изрезанные. «Прости, сынок. Он не злой. Жизнь такая». Перевязала тряпками — пропитанными её кровью. Боль стала тупой, ноющей.

Пластинка лежала рядом — треснутая, но целая. Павел прижал к груди — кровь с пальцев капнула на винил, смешалась с «Sabbath».

Прошли недели. Раны у мамы гноились, чесались. Она мазала дешёвой мазью — воняла тухлым маслом. «Инфекция. Нужно лекарство посильнее». Денег не было. Отец забрал последние на выпивку. Мать шила быстрее — раны открывались, гной сочился.

Павел знал: нужно украсть. Аптека на углу — антибиотики за прилавком. Сердце стучало, как барабаны «War Pigs». Зашёл, сделал вид — смотрит витамины. Фармацевт отвернулся. Рука потянулась к шкафу — холод стекла. Шёпот внутри: «Ты недостоин. Вор. Как отец». Рука дрогнула. «Эй, мальчик!» Павел убежал — слёзы текли, спина болела.

Дома мать ждала — лицо бледное, глаза лихорадочные. «Не смог. Прости». Она обняла — руки горячие, пахнущие гноем. «Ничего. Завтра… заработаем…»

Завтра не пришло. Мать умерла в ночь на 17 марта — тихо, почти незаметно, как будто просто устала дышать и решила отдохнуть. Не кричала, не звала врача, не просила бежать за помощью. Лежала маленькая, сгорбленная, руки

вдоль тела — изрезанные, в гное, чёрные прожилки ползли по венам, как яд. Пальцы — те, что кормили их троих, гладили по голове, когда отец бил, вытирали кровь с его спины — теперь холодные, жёсткие, как старые нитки, которые она не успела дошить.

Павел сидел на полу всю ночь. Слёзы кончились днём, когда она закашлялась кровью, а он побежал в аптеку. Фармацевт: «Антибиотики? Дорого. Рецепт нужен». Вернулся с пустыми руками — пальцы дрожали, в горле ком: «Я мог украсть. Должен был украсть». Но послушал шёпот внутри: «Ты недостоин. Всё испортишь». И не украл.

Держал её руку — холодную, липкую от гноя, пахнущую железом и плесенью. Она открыла глаза — мутные, жёлтые, как воск свечи, — улыбнулась слабо. «Не вини себя, сынок. Ты… хороший. Ты… громкий. Пой громко. Чтобы услышали». Слово утонуло в кашле — кровь брызнула на подушку, алая на сером. Затихла. Глаза остались открытыми. Павел смотрел в них, пока не стали стеклянными, пустыми, как окна заброшенного дома.

Не звал отца. Тот пришёл утром — пьяный, воняющий перегаром и чужими духами. Увидел тело. Заплакал громко, кулаками по столу: «Почему она?! Почему не я?!» Ударил Павла — не сильно, но больно. Павел упал на колени, кровь из носа капнула на пол, смешалась с кровью матери на простыне. Не сопротивлялся. Подумал: «Ты её убил». Закрыл матери глаза дрожащими пальцами.

Похороны дешёвые. Гроб фанерный, краска облупилась в машине. Священник читал быстро, как опаздывает на обед. Мать опустили в мелкую яму — земля сырая, пахла глиной и дождём. Павел стоял у края в старом пальто отца — мешок на нём. Не плакал. Слёзы кончились. Вместо них — вина, острая, как игла, которой она шила до конца. «Я мог украсть. Должен был. Она умерла из-за меня. Единственная, кто любил. И я её убил трусостью».

Стоял у могилы после всех — после отца, ушедшего в бар, после священника. Дождь пошёл — мелкий, холодный. Капли стекали по лицу, смешивались с соплями, грязью, кровью из губы — отец ударил ещё раз утром: «Ты плачешь, мужики не плачут». Павел не чувствовал холода. Только боль и пустоту внутри — воспоминания жгли, как раскалённый уголь.

Опустился на колени в грязь. Вцепился в комья земли — ногти ломались, кровь текла по ладоням, капала на могилу. «Прости, мама. Прости, что слабый. Прости, что не спас». Бил кулаками по земле — пока кожа не лопнула, кровь не смешалась с грязью в красную кашу.

И услышал — не ушами, в костях: музыка Black Sabbath. Бас бил в живот, барабаны по вискам, гитара резала душу. Голос Оззи: «They're only coming to get you…» Павел закрыл глаза. Слёзы пришли — горячие, солёные, смешанные с дождём и кровью. Рыдал громко, надрывно — выплёвывал вину, боль, любовь, которую не успел отдать.

Боль не ушла. Стала ноющей. Закалила — как сталь в ог-

не и воде. Мать умерла не из-за его трусости. Мир такой — жестокий, равнодушный, пропитанный кровью. Но она любила его. Даже когда он был трусом. Даже когда не спас. Эта любовь — единственное чистое в нём.

Встал — грязный, мокрый, кровь на руках и лице. Дождь смывал грязь, не боль. Посмотрел на могилу — холмик без креста, один жёлтый увядший цветок.

«Я буду петь громко, мама. Чтобы ты услышала. Даже там. Если Бог не услышит — услышит дьявол. Но спою. За тебя. За нас».

Развернулся и пошёл прочь — через кладбище, дождь, боль, которая теперь жила в нём второй душой. Боль не сломала. Сделала сильнее. Сделала тем, кем он станет: Лжепавлом, рвущим струны до крови, кричащим псалмы под дисторшн, стоящим на краю ада и поющим, пока голос не сорвётся.

Потому что мать любила его. И он любил её. И эта любовь сильнее смерти.

Год после был вечностью боли. Просыпался с её именем на губах — «мама» в подушку, пропахшую гноем. Воспоминание накрывало: холодные пальцы в ладони, мутные глаза, последний вздох. Вина жгла в груди, душила горло. Кашлял — слышал её хрип с кровью.

Бродил по Риму — улицы как вены, воздух тяжёлый от сажи. Каждый шаг напоминал: булочная, где хлеб в кредит; фабрика, где эхо иглы; аптека, где не украл. Стоял у витрины

часами — кулаки сжимались, ногти в ладони, кровь. «Почему не разбил? Почему не схватил? Она бы жила».

Отец пил больше — бил реже, но злобнее: «Ты её убил!» Павел не сопротивлялся. Лежал после ударов, кровь стекала, думал: «Да. Убил. Недостоин жить». Но боль ковала — делала душу твёрже, острее.

Играл на улице — гитара с леской-струнами, резала до мяса. Сидел на ящике — щепки в кожу. Риффы тяжёлые, свои — каждый аккорд за мать, каждый удар за вину. Кровь капала на гриф, звук гуще. Люди бросали копейки — ржавые, липкие. Еда: хлеб, сыр, яблоко — ел медленно, вкус вины в каждом куске.

Воровал — сначала яблоко, хлеб, потом кошелёк, лекарства — разбил витрину ночью, стекло резало руки, кровь текла, но схватил бутылку. Вина жгла сильнее: «Теперь вор. Как отец».

Попрошайничал — шляпа в руках, глаза в землю: «Подайте, Христа ради». Монеты звенели как насмешка, плевки — как нож. Стоял часами — ноги мёрзли, спина чесалась от рубцов. Но монеты давали еду. Унижение закаляло — кожа толще, душа твёрже.

Год прошёл — цепь дней боли. Но боль ковала сталь. Вина стала важной частью — паразитом, которого он кормил своей болью. «Ты умерла из-за меня, мама. Но я выживу. Стану громким. Спою так, чтобы услышали. За тебя».

Улица

Павлу тринадцать. Улицы — единственный алтарь: узкие, как вены старого города, пропитанные дождём, выхлопами, запахом чужих сгнивших жизней. Асфальт трескался под ногами, фонари мигали тускло, как глаза умирающего. Каждый вечер Павел выходил с гитарой — пропитанной кровью и потом, леска-струны резали пальцы до мяса. Он играл не для Бога — Бога в его мире не осталось. Играл, чтобы заглушить тишину после матери: холодные руки, последняя кровавая улыбка, нитка, соскользнувшая с катушки.

Металл группы Black Sabbath жил в нём — низкий, ржавый, с привкусом боли. Оззи пел войны внутри, генералов-отцов, посылающих на смерть. Павел отдавал риффам ярость: каждый аккорд — удар, который не смог нанести отцу; каждый дисторшн — крик у могилы. Кровь стекала по грифу, капала на асфальт, смешивалась с дождём и грязью. Звук густел, тяжелел — гитара пила боль и выплевывала её в воздух: рваную, надрывную, без надежды на ответ.

Те, кто останавливался, бросали монетки: ржавые, липкие, звенели в шляпе отца. Монеты — дешёвые, как его жизнь. Давали хлеб, сыр, яблоко — ел медленно, вкус вины в каждом куске: «Мама бы съела. Но её нет. Из-за меня». Играл часами — пальцы немели, кровь застывала коркой, голос срывался в хрип, неотличимый от ветра в подворотнях.

Каждая монета — плата за то, что он ещё дышит, хотя не должен.

Друг появился в дождливый вечер — Марко, тощий, ирокез, цвета свежей крови, глаза полные той же ярости и боли. Встретились на свалке: Марко крал провода, Павел искал обломки. Марко услышал рифф «War Pigs» в исполнении Павла и сказал: «Это круто». С тех пор делились сигаретами, хлебом. Павел думал: «Первый настоящий друг».

На следующий день Марко встал в тени, слушал. Павел играл — рифф низкий, сжатый до боли. Закончил — Марко бросил монету, звякнула громко. «Хорошо орёшь. Но мало народу. Приведу панков. Они любят такое. Завтра здесь. Будет толпа. И деньги».

Павел кивнул — сердце стукнуло, как барабан Sabbath. «Спасибо, брат». Марко улыбнулся криво: «Мы же свои».

На следующий день пришёл рано — асфальт мокрый, лужи отражали серое небо. Сел на ящик, гитара на коленях. Толпа собралась быстро: панки в косухах, ирокезы, цепи, татуировки, лица жёсткие. Стояли полукругом, курили, глаза блестели. Павел подумал: «Пришли слушать».

Начал — «Paranoid» с собственной яростью: низкий, злой, струны из груди. Кровь капала на гриф, аккорды густели. Звук разорвал воздух — гитара стонала, резала до кости.

Увидел Марко в заднем ряду — улыбка кривая, глаза холодные. Рядом с ним панки.

Продолжая играть, почувствовал удар кулаком сзади, мир

качнулся, гитара выскользнула, треснула об асфальт. Павел на коленях — асфальт впивается в кожу. Второй удар — пинок в рёбра, хруст, воздух вышибло. Его били вшестером. Кровь из носа — горячая, солёная, залила рот. Зуб вылетел — упал в лужу.

Грабили. «Мало. Но гитара хороша, разобьём». Схватили её — Павел рванулся, пинок в живот согнул. Рвали: треск дерева, как крик матери в агонии, струны лопнули жалобно, леска резанула пальцы. Корпус треснул, осколки в кожу.

Павел в луже — крови, дождя, грязи. Тело корчилось, рёбра жгли, глаз заплыл, зубы скрипели. Панки окружили — смеялись, плевали, пнули напоследок и начали расходиться.

Павел поднял голову. Посмотрел в глаза Марко — пустота, насмешка, жадность. Марко засмеялся: «Ты думал, мы друзья? Ты — додик с гитарой. Мы — панки. Берём, что хотим».

Павел собрал кровь во рту — солёную, с разбитыми зубами — плюнул. Плевок в лицо Марко — кровь испачкала всю физиономию, зуб ударил в щёку и упал, с красным следом. Марко завыл — панки потащили его прочь.

Павел один — полз к обломкам: корпус треснутый, гриф сломанный, струны разорваны. Собрал дрожащими руками, слёзы смешивались с дождём и кровью. «Не сломаюсь. За тебя, мама. За грохот».

Дома восстанавливал ночами — в темноте, чтобы отец не увидел. Пальцы опухшие, в ранах — склеивал клеем из хле-

ба, укреплял проволокой со свалки, натягивал леску, пропитанную кровью. Каждый шов — как игла матери. Боль в теле лишь фон. Настоящая боль — предательство Марко жгло ножом в сердце. «Почему даже друг — предатель?» Шёпот отвечал: «Ты недостоин. Приносишь боль».

Учился помнить, не прощать. Гитара ожила — в шрамах, звук глубже, тяжелее, пропитанный кровью и яростью. Играл громче — риффы пронзали тишину, как крик в ночи.

В музыке нашёл силу — горькую, как кровь на языке, но настоящую. Силу не сломаться. Силу продолжать жить. Без матери. Без друзей. Но с побоями отца.

Отец вернулся той ночью зверем, которого уже не держали цепи алкоголя и стыда. Дверь распахнулась с треском. Перегар ударил в лицо — густой, сладковато-кислый, смешанный с потом и чужими духами. Отец стоял в проёме: глаза красные, как угли в забытой печке, кулаки сжаты до белых костяшек, вены на шее вздулись верёвками.

Павел сидел на полу — гитара в руках, пальцы липкие от свежей крови после улицы. Не успел встать. Кулак обрушился на плечо — кость хрустнула тихо, интимно, как сухая ветка в тишине. Боль ворвалась белой вспышкой, прошла по нервам до позвоночника. Павел упал на бок, гитара выскользнула, струны звякнули жалобно.

«Ты всё ещё играешь эту фигню?! — заорал отец, голос хриплый, ржавый. — Музыка дьявола! Из-за тебя мать сдохла! Из-за тебя я пью!» Схватил за волосы — рванул вверх.

Павел закричал коротко, но крик утонул в ударе в лицо: нос хрустнул, кровь хлынула горячей волной, залила рот, горло, подбородок. Упал на спину — рука висела плетью, кость торчала под кожей углом, белая, острая.

«Я сломаю тебя, щенок, — прохрипел отец, поднимая ногу». Каблук опустился на сломанную руку — хруст, боль взорвалась снова, Павел завыл по-звериному, гортанно. Кровь текла по руке, капала на пол, смешиваясь с пылью в красные пятна.

Мать уже не могла встать на его сторону. Она лежала в земле.

Павел не помнил, как встал. Помнил только боль — сильнее страха. Рванулся вперёд — одной рукой схватил отца за горло. Пальцы вцепились — отец захрипел, глаза вылезли. Павел толкнул — неумело, слабо, но с яростью. Отец отшатнулся, споткнулся, упал на спину. Павел стоял над ним — кровь капала на грудь отца красными точками. «Ты её убил, — прошептал, голос ломался. — Не я. Ты».

Отец смотрел снизу — в глазах мелькнул страх. Павел повернулся медленно — каждый шаг отдавался в руке, — взял гитару одной рукой, прижал к груди. Ушёл. Дверь осталась открытой. Дождь лил за порогом — холодный, как слёзы по матери.

Бродяжничал по Риму — спал в подворотнях, где крысы грызли пальцы ног, оставляя гноящиеся точки, сладковато-гнилостные. Прятался под мостами — вонь мочи, мокрый

камень, ржавчина. Воровал — хлеб, проволоку, клей, дерево — тащил в подвал под фабрикой, где пахло плесенью и крысиным дерьмом. Восстанавливал гитару ночами при свете свечей — пальцы дрожали, кровь капала на дерево, смешиваясь с клеем в красные заплатки. Каждый шов — как игла матери. Рука срослась криво, ложный сустав, но он играл — одной рукой, зубами зажимая струны, кровоточащими пальцами выдавливая риффы. Звук стал тяжелее, злее — гитара потеряла всё, как он.

Марко нашёл через три месяца — на той же площади. Павел играл «Iron Man» — медленнее, тяжелее, с привкусом крови и гноя. Марко подошёл — ирокез выцвел, глаза холодные, но с мелькнувшим страхом. «Ну что, додик? Всё орёшь своё говно?»

Павел поднял глаза — один заплыл шрамом, второй горел. Встал медленно — рука висела, но вторая сжимала гриф до белых костяшек. Марко засмеялся нервно: «Думаешь, теперь сможешь? Тогда был один. Теперь тоже».

Павел шагнул. Марко пустил в дело кулаки. Павел увернулся — боль в руке вспыхнула молнией, но не остановился. Ударил — со всей яростью, всей виной, всей любовью к матери. Кулак вошёл в челюсть — хруст, даже кровь брызнула, зуб вылетел, упал на асфальт. Марко упал на колени — рот открыт в беззвучном крике.

Павел стоял над ним. «Ты предал меня. Сломал гитару. Сломал то, что осталось от мамы.».

Павел повернулся спиной. Ушёл — гитара на плече. Марко остался на коленях — в луже собственной крови и стыда.

Он давно не возвращался в ту щель между обшарпанными многоэтажками — где стены сочились сыростью, пол скрипел, как кости на изломе. Жил в подвалах, на крышах заброшенных фабрик, в подворотнях — крысы стали соседями, их зубы на пальцах ног — утренним зудом. Гитара всегда с ним — потрёпанная, в шрамах от панковских кулаков, струны новые, но уже пропитанные кровью свежих ран. Играл на улицах громче, злее — риффы рвали воздух, как крик, который не мог издать в детстве. Монеты падали реже — люди шарахались от лица в шрамах и грязи, от глаз, где характер выкован болью и лишениями.

Отец умер через четыре года после ухода Павла. Угасал медленно, как гниёт дерево. Цирроз стал тенью образа жизни: кожа пожелтела, глаза жёлтые, как воск оплывающей свечи, живот раздулся, будто внутри чужой ребёнок, которого отец никогда не хотел. Пил до последнего. Хотел заглушить тишину дома без родных. Перешёл с дешёвого вина на самогон.

Сидя на краю кровати, где умерла Мария, шептал в темноту: «Прости… Я не хотел… Не умел». Голос хриплый, надорванный. Вспоминал её пальцы — изрезанные, кровоточащие, но тёплые. Как шила до утра, чтобы купить ботинки, а он пропивал деньги. Как бил — не сильно, но оставлял синяк под платком. «Я свинья… Бухающая свинья. А ты была

святая».

О сыне вспоминал реже. Помнил хруст кости в руке, крик Павла, эхом каждую ночь. «Ты ушёл — и правильно. Я бы тебя убил». Плакал тихо, по-мужски — кулаками по матрасу, пока кожа не лопалась, кровь капала красными пятнами.

Цирроз убивал медленно. Слабость приковала к кровати — смотрел в потолок, трещина ползла, как чёрная вена вины. Кровь изо рта — тёмная, густая, железная. Асцит — живот блестел, натянутый, как барабан. Не ходил к врачу — знал: наказание. «Я заслужил. Убил её. Прогнал его. Я — свинья».

Последние дни был один. Соседи не приходили — боялись запаха смерти. Лежал на той же кровати — живот огромный, кожа жёлтая, глаза мутные, но боль жила. Шептал им:

«Мария… прости… Не умел любить… Только бить… Павел… сынок… если слышишь… знай… я тебя любил… по-уродски… но любил… Прости, что сломал руку… Прости, что сломал всё…»

Умер в ночь на 3 октября — тихо, выдохнул и не вдохнул. Глаза открыты — жёлтые, мутные, полные вины. Кровать пропиталась кровью и желчью, простыня коричневая, как карта ошибок. Никто не пришёл. Никто не закрыл глаза. Только мухи кружили — чёрные, жирные, жужжали роем воспоминаний и ошибок.

Павел узнал через год — от старухи-соседки на улице.

«Твой отец сдох. В луже собственной желчи. Звал тебя до последнего. Говорил: "Сынок… прости…"»

Павел стоял молча. Дождь лил — холодный. Не пошёл на могилу. Не поставил крест. Кивнул старухе и ушёл — гитара на плече, рука криво сросшаяся, шрамы на спине чесались напоминанием.

В ту ночь играл на крыше фабрики — громче, чем когда-либо. Риффы рвали воздух, как крик у могилы отца. Кровь капала на струны, смешиваясь с дождём, звук густел, тяжелел. Не плакал. Слёзы кончились. Вместо них — ярость, чистая, как огонь, выжигающий лишнее.

«Ты был свиньёй. Бухающей свиньёй. Но моим отцом. Я тебя ненавижу. И люблю. И эта любовь — тоже моя боль».

Гитара стонала под пальцами — в крови, грязи, воспоминаниях. Играл до утра — пальцы онемели, голос сорвался в хрип, небо посветлело над Римом.

Семинария и гром, который не молчал

Рим, 1991–1992 годы. Павлу восемнадцать — девятнадцать.

Он вошёл в семинарию не как блудный сын, ищущий прощения, а как подбитый бездомный пёс, забивающийся в глубокую нору, чтобы зализать раны и не сдохнуть от голода на римском асфальте. Тяжёлая дубовая дверь, отполированная веками чужого благочестия, захлопнулась за спиной с глухим стуком крышки гроба. Внутри стоял застывший, музей-

ный холод: ладан, перетёртый воск и книжная труха. Этот запах не утешал — он напоминал о склепе, в котором заживо заперлись люди, начисто забывшие вкус настоящей крови и уличной грязи.

Келья походила на каменный пенал: узкая, голая, без единой лишней детали. Дощатая койка с матрасом толщиной в ладонь, грубый табурет и окно под потолком — маленькое, перечёркнутое ржавой решёткой, за которой виднелся клочок сизого, выцветшего неба. Кормили скудно, по расписанию: серый вчерашний хлеб, пустая похлёбка из разваренной фасоли, сухой овечий сыр. Павел не крестился перед трапезой и не благодарил небеса. Он сметал всё за пару минут, машинально заслоняя миску локтем, как в подворотне, боясь, что еду отберут. Он пришёл сюда не спасать душу — души в нём не осталось со дня похорон матери. Ему нужны были крыша без дыр, кусок хлеба и стены, в которые ночью не вламывается пьяный отец с ремнём.

Старые прелаты скользили по нему взглядами, полными усталой жалости и скрытой брезгливости. — Ты ищешь Господа, сын мой? — спросил его ректор на первом допросе. Павел исподлобья смерил его глазами, в которых ещё тлела волчья уличная злоба, и процедил сквозь зубы: — Я ищу еду.

Вера казалась ему дешёвой сказкой для сытых. Где был их Бог, когда мать гнила заживо, задыхаясь от сепсиса на засаленном матрасе, пока он боялся разбить витрину аптеки? Где Он прятался, когда подошва отца вбивала его собствен-

ную ключицу в доски пола? В каменных коридорах семинарии царило то, что Павел ненавидел больше всего на свете — стерильная, лицемерная тишина.

Но тишина не спасала. По ночам она наваливалась на грудь бетонной плитой. В темноте оживали призраки: свист кожаного ремня, жёлтый предсмертный пот матери, гогот Марко в подворотне и хруст дерева разбитой гитары. Чтобы не сойти с ума от этих шорохов, Павел зажигал огарок свечи и открывал Писание. Сначала просто скользил глазами по строчкам, механически цепляясь за буквы, лишь бы занять руки. Литургические славословия вызывали глухую тошноту. Но Ветхий Завет внезапно ударил под дых.

Он наткнулся на Исход:*«И был гром, и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в стане» (Исх. 19:16).*

Павел замер. Пальцы впились в пергамент так, что бумага хрустнула. Гром. Не елейный шепоток каноников. Не благостное бормотание вечерни. Гром, от которого крошился базальт и земля ходила ходуном под ногами перепуганных кочевников. Неумолимый, первобытный грохот, который не выпрашивает смирения, а вбивает осознание величия прямо в нутро.

Павел закрыл глаза. В висках с утроенной силой запульсировал старый рифф «War Pigs». Низкий, грязный перегруз баса Гизера Батлера, железо Тони Айомми, набат барабанов — всё это внезапно встало на свои места. Это был тот самый

Синай. «Если Ты являлся в раскатах бури, почему эти святоши заставляют Тебя шептать? — думал он, глядя в пляшущий огонёк свечи. — Если Твой голос сотрясает горы, почему я должен прятать свою ярость по подвалам?»

Он достал из-под топчана инструмент. Старая дека, собранная из кусков на клей и проволоку, хранила следы засохшей крови. Вместо фабричных струн тускло поблёскивала толстая леска. Павел сел на край койки, упёрся подбородком в гриф и осторожно коснулся натяжения.

Стены кельи были тонкими, шуметь запрещалось уставом, поэтому он играл почти беззвучно. Но само дерево вибрировало в костях. Он вёл рифф пальцами, срезая свежую кожу на подушечках: медленно, тяжело, свинцово. С каждым тактом пустота внутри отступала. Боль от потерь и предательств больше не была гноящейся раной — она становилась топливом. Напряжение копилось в жилах, пока плотина не треснула.

Это не было озарением святого с иконы. Это был взрыв. Гром с Синая хлынул через него электрическим разрядом, сплавившись с тяжестью Black Sabbath. Вибрация прошла от пальцев по сломанной руке прямо в сердце, выжигая страх. По щекам покатились редкие, злые слёзы — не от жалости к себе, а от дикого облегчения.

Тьма в углах кельи больше не давила — она отступила перед звуком, который он нёс внутри. Павел не стал примерным послушником и не уверовал в кроткого пастыря с кар-

тинных витражей. Но в каменной броне его души появилась глубокая трещина, сквозь которую вместо яда хлынуло первозданное пламя.

Свеча зашипела и погасла. За окном на древние крыши Рима обрушился холодный ливень, и в раскатах далёкой ночной грозы Павел впервые услышал не угрозу, а ответ. Он больше не боялся, что этот рёв разорвёт его на части.

Он боялся только одного — замолчать.

Гром на Синае

Рим — Синай — Иерусалим, 1992 год. Павлу девятнадцать.

Тишина каменных коридоров семинарии душила его вернее петли. Это было не безмолвие покоя, а липкая пустота, сочившаяся из стен, как болотная сырость. Звук внутри — сплавленный из ярости Ветхого Завета, винила Black Sabbath и запекшейся крови на грифе — требовал ответа. Не утешения. Не сладких обещаний загробной жизни. Доказательства. Он должен был знать наверняка: Тот, Кто говорил из бури на Синае, действительно слышит вопль ободранных и покалеченных, или это лишь его собственное эхо, метавшееся по черепной коробке.

Он пришёл к отцу Иоанну. Старый монах сидел в полумраке кельи среди осыпающихся фолиантов; его лицо походило на растрескавшуюся от засухи глиняную маску. Павел замер в дверях — тощий, в полинявшей рясе не по росту, с перекошенной от криво сросшегося перелома рукой. Гитара за плечом тянула книзу, словно виселица.

— Я не умею верить так, как вы, отче, — голос Павла звучал наждаком. — Но я читал про громы и молнии на Синае. Если Тот Бог настоящий — отправьте меня туда. Я должен стать перед Ним сам. Услышать. Или понять, что всё это — просто моя личная агония, которую я по ошибке назвал мо-

литвой.

Отец Иоанн смотрел долго, сквозь него. В выцветших глазах старика не было ни гнева, ни нравоучений — лишь глухое, пугающее понимание. — Поезжай, — тихо произнёс монах, и тень от свечи дрогнула на его лице. — Но помни, Павел: когда Синай отвечает, он не гладит по голове. Этот гром ломает кости.

Спустя две недели за окном скрипящего автобуса уже стлалась серая пелена египетской пустыни. В заплечном мешке — истёртый требник, обрывок ситца от старого платья матери и замотанный в холстину инструмент. Павел молчал всю дорогу, впитывая иссушающий зной, бензиновую гарь и бесконечный горизонт, где скалы вздымались к выжженному небу, словно окаменевшие вопли.

Синай встретил ледяным ветром. Павел поднимался на вершину в глубокой тьме. Острые кремни вспарывали подошвы стоптанных башмаков, холодный воздух обжигал лёгкие, ладони саднили от цепких каменных выступов. Когда он выбрался на плоское скалистое плато, мир внизу утонул во мгле. Были только звёзды, ветер и стылый монолит под ногами.

Он опустился на колени, стянул холстину и положил изувеченное дерево гитары на бедро. Пальцы одеревенели от холода, но, когда ногти рванули струны, по скалам прокатился глухой, утробный рык. Это был рифф «War Pigs» — сыгранный медленно, тяжело, с первобытной яростью загнанного

зверя.

— Если Ты там — ударь! — выкрикнул он в чернеющее небо, срывая связки. — Не шепчи мне про кротость! Разорви эту ночь! Я устал от лжи!

Он рубил аккорды, не чувствуя, как леска снова режет пальцы до мяса. Дерево стонало, звук набирал плотность лавины, эхо билось о базальтовые зубья. И в миг, когда струна зазвенела на пределе прочности, ветер внезапно оборвался.

Земля под ногами дрогнула — глухо, глубоко, будто гигантское сердце провернулось в недрах горы.

Небо лопнуло. Ослепительно-белая дуга молнии с сухим пушечным треском вонзилась в каменную гряду в нескольких шагах от него, осыпав рясу снопом раскалённых искр и пахнув резким, едким озоном.

А следом вспыхнул терновник. Сухой колючий куст на краю обрыва вспыхнул мгновенно — но не рассыпался золой. Пламя в нём переливалось, танцевало по шипам, чистое, пульсирующее, не трогая сухую древесину. Оно дышало.

Павел замер, ослеплённый жаром. По его лицу, смывая пыль и сажу, катились горячие слёзы. В груди больше не было ледяной пустоты — её заполнил первобытный ревущий набат. Он не просил прощения. Он просто пел — хрипло, со сломанным голосом, глядя на несгорающий огонь. Это не была благодать из катехизиса. Это была встреча двух бурь. И Бог принял его грохот, потому что в этом грохоте не было

ни грамма фальши.

С Синая Павел спускался уже другим. Пламя куста выжгло внутри страх, оставив чистую, стальную волю.

Он прошёл святые места, как проходят поле боя:

Вифлеем: спустившись босиком в сырую полутьму вертепа, он коснулся ладонью серебряной звезды в каменном полу. Там не было громовых раскатов. Там пахло холодной глиной, кровью и пелёнками нищеты — точно такой же, в какой родился он сам. Он тронул струны без звука, одним движением воздуха: здесь Бог выбрал уязвимость.

Иерусалим: шагая по выщербленным камням Виа Долороса, он слушал, как старая гитара бьётся о его лопатки в такт шагам. На Голгофе, прижавшись лбом к тёмной скале, он беззвучно выдохнул в трещину камня «Iron Man» — как дань Тому, Кто знал цену предательства и хруста перебитых костей.

Иордан: он вошёл в мутную, пахнущую илом воду прямо в ветхой рясе. Вода обожгла ноги холодом. Павел поднял инструмент над головой и ударил по открытым струнам один-единственный раз. Низкий басовый аккорд рассёк гладь реки, уйдя эхом в тростники.

Бог не требовал от него тишины. Богу нужна была его правда — со всеми шрамами, грязью и кровью.

Сан, ставший кровью на струнах

Рим, 1995 год. Павлу двадцать два.

Семинария подошла к концу без фанфар. Для консилиума профессоров Павел так и остался чужаком — странным угрюмым волчонком с криво сросшейся ключицей и тяжёлым взглядом исподлобья. Он не блистал богословской эквилибристикой на диспутах, не заискивал перед инспекторами и сидел на задних скамьях, кутаясь в потрёпанное сукно, словно в саван. Но когда его вынуждали отвечать, каждое его слово падало свинцовым грузилом. Преподаватели морщились и отводили глаза: от него пахло не библиотекой, а гарью.

Накануне рукоположения состоялась последняя исповедь. Отец Иоанн встретил его в той же сумрачной келье. Павел опустился на колени перед стариком, уперев кулаки в холодный мрамор.

— Я не умею каяться по чину, отче, — глухо сказал он. — Я не очистился. Я всё ещё ненавижу отца за побои и помню хруст челюсти Марко под моим кулаком. Я до сих пор вою по ночам из-за матери, которой не принёс ампулы. Но на Синае я видел огонь. Бог не просил меня стать ветошью. Он принял мой рев. Если церкви нужны рабы, шепчущие по углам, — гоните меня вон. Но если Ему нужны те, кто готов орать правду в лицо преисподней — возлагайте руки.

Отец Иоанн долго молчал, вглядываясь в жесткие черты

молодого лица. Затем медленно перекрестил его склоненную голову: — Ты выбрал страшный путь, Павел. Церковь держится на послушании, а в тебе клокочет буря. Этот сан не принесёт тебе мира. Он станет твоей Голгофой. Но иди. Говори громом, пока не сорвешь голос.

Хиротония прошла без пышности в боковом приделе. Ни родных, ни цветов. Сухие, пергаментные ладони епископа на затылке, короткая формула рукоположения на латыни — и тяжесть священнической благодати легла на плечи не легким голубем, а раскаленным железным ярмом. Гром внутри Павла глухо отозвался, замкнув цепь.

Ему отдали то, от чего открещивались остальные: полуразрушенную часовню на рабочей окраине Рима. Стены в серых разводах плесени, просевший купол, ржавый, перекошенный крест и контингент, от которого сытые клирики из центра шарахались, как от чумы.

В первое же воскресенье на скрипучих лавках сидела его паства:

Старухи в траурных платках с серыми, пергаментными лицами;

Бездомные с фабричных свалок, дрожащие от утреннего озноба;

Беспризорники с вороватыми повадками и синяками под глазами.

Они ждали дежурной проповеди о смирении, после которой можно будет урвать миску бесплатной баланды.

Павел вышел к ветхому алтарю. Ни белых расшитых риз, ни кадила. Чёрная ряса с засаленными манжетами и старая, склеенная из кусков гитара через плечо. Он не стал раскрывать богослужебные книги. Он просто сел на ступени солеи, положил иссечённые пальцы на струны и вдавил медиатор в металл.

Тяжёлый, утробный рифф с рваным перегрузом разорвал затхлый воздух часовни, ударив в грудину собравшихся почище колокола. Это был не гимн и не молебен. Это был стон заводских трущоб, скрежет фабричных станков, боль всех невыплаканных уличных слёз и грохот Синайской грозы, загнанный в шесть струн.

Павел запел — низко, хрипло, выхаркивая слова прямо в сырую пустоту под куполом: о Боге, Который не прячется в золоте Ватикана, а висит на кресте в каждой подворотне; о материнских разорванных пальцах; о надежде, которую нельзя вымолить шепотом, но можно вырвать из глотки тьмы.

В часовне повисла мёртвая тишина, разорванная лишь вибрацией дребезжащих витражей. Никто не ушёл. Никто не перекрестился с испугом. Бездомные подались вперед, расправляя плечи; старуха в первом ряду беззвучно заплакала, сжимая в кулаке истёртый платок. В этой дикой музыке они впервые услышали собственную боль — признанную, освящённую и вознесённую к небесам.

Когда затих последний аккорд, старая женщина медленно

подошла к ступеням и с сухим стуком уронила в раскрытый футляр медную монету: — Спасибо, сынок... Ты спел за нас.

Павел поднял на неё глаза, в которых больше не было растерянности. Только чистый, не знающий жалости огонь. — Я спою ещё, — ответил он тихо. — И они услышат.

Сан не стал для него броней или привилегией. Он стал открытой раной, с которой он добровольно содрал повязку. Впереди был Рим, глухой к крикам нищих, и Ватикан, благоухающий дорогим ладаном. Но Лжепавел уже вышел на свою войну.

И за его спиной неотступно гремел Синай.

Красное платье и гром в сердце

Рим, 1996 год. Павлу двадцать три.

Сан священника висел на нём тяжелым черным саваном. Приход на рабочей окраине дышал сыростью: облупленные фрески осыпались серыми хлопьями на щербатый пол, а медный крест на колокольне перекосило от ветров точно так же, как его собственную, криво сросшуюся ключицу. По воскресеньям он хлестал свою паству перегруженными риффами, выбивая из старых струн вопль уличной боли. Нищие, заводские работяги и спивающиеся шлюхи слушали его, разинув рты — в его аккордах они узнавали свои разбитые судьбы. Но когда смолкал последний такт и железные ворота часовни закрывались, внутри оставалась лишь ледяная, гулкая пустота. Гром с Синая, казалось, истаял, оставив после себя лишь глухое эхо: *«Ты кричишь громко, Павел. Но ты по-прежнему пуст»*.

После вечерни он уходил бродить по Риму — смыть с себя запах пота и кадила. Рим девяностых жил лихорадочным чадом: рев мотороллеров «Веспа», чад горелого машинного масла, терпкий дух эспрессо и смех сытых туристов, гуляющих по камням, пропитанным кровью тысячелетий.

Он увидел её на Пьяцца Навона.

Она стояла у кромки фонтана, и в сером вечернем мареве её красное шерстяное платье, казалось, открытой, пульсиру-

ющей раной. Цвет не просто кричал — он дрался с этим городом. Подол облегал сухое, гибкое тело; вязаная алая шапочка с дурацким круглым помпоном сбилась набок, а из-под неё тяжелыми черными волнами падали волосы, пахнущие дождем и дешевым табаком.

Она не просила подаяния. Она продавала рисунки. Пальцы — с тонкими запястьями, сплошь покрытые въевшейся угольной пылью, — молниеносно чертили по плотному картону. На картоне оживали не открыточные виды Рима, а лица прохожих: обнаженные, злые, искаженные скрытыми спазмами.

Павел замер в тени аркады, сжимая ремень заплечного чехла с гитарой. Сердце дало глухой сбой.

Девушка резко вскинула голову, будто её толкнули в плечо. Взгляд — черный, цыганский, лишенный всякого страха. Нижняя губа была рассечена старым косым шрамом, из-за чего её усмешка казалась надломленной и злой.

— Эй, падре! — хрипло окликнула она через гул толпы; в голосе звенел хриплый, прокуренный неаполитанский акцент. — Чего застыл, как мраморный святой у костёла? Грехи мои считаешь или карманы проверяешь? — Ничего я не считаю, — Павел сделал шаг вперед, чувствуя, как деревенеют ноги в тяжелых ботинках. — Просто смотрю. — Смотрит он... За погляд денег не берут только в морге. Хочешь портрет? Двадцать тысяч лир. Или отсыпь мне парочку индульгенций за сквернословие, а то местный клирик обещал, что я

сгнию в аду. — В аду места заняты теми, кто сыт, — невольно усмехнулся Павел. — А у меня нет двадцати тысяч лир. Только гитара за спиной и медяк на автобус. — Нищий поп? — она вскинула тонкую бровь, смерила взглядом его засаленные рукава и стоптанную обувь. Потом фыркнула, сплюнув табачную крошку на брусчатку. — Ладно, садись на парапет, чучело. Бесплатно набросаю. Слишком уж рожа у тебя подходящая... Будто тебя только что сняли с виселицы, да веревка лопнула.

Павел сел на влажный холодный камень. Вода за спиной мерно шумела. Уголь с резким шуршанием впивался в картон.

— Как звать-то тебя, святой отец? — спросила она, не отрываясь от листа. — Павел. — София. Будем знакомы, падре Павел. Только крестить меня не вздумай — святая вода на мне шипит. — На мне тоже, — тихо ответил он.

Она замерла на секунду, вгляделась в его лицо из-под мокрой челки, и кривая усмешка со шрама сползла: — Заметно. В глазах у тебя не благодать, Павел. Там пепелище. Кто тебя так отделал? — Жизнь. Отец с ремнем. Сепсис, сожравший мать на матрасе. — Знакомая песня, — сухо бросила она, и штрихи угля стали жестче, яростнее. — Мой старик на юге лупил мать бутылками, пока не проломил висок. А потом перешел на меня. В шестнадцать я воткнула ему сапожный нож в бедро и ушла по шпалам в Рим. Спала на вокзале Термини, дралась с сутенерами за угол под лестницей. Два раза

вскрывала вены в сортирах, да оба раза откачали какие-то сердобольные идиоты. Жить — это вообще паршивая работа, падре. Но мы рисуем. Я мажу углем по бумаге, чтобы не сдохнуть от злости. А ты зачем таскаешь это бревно на спине? — Я кричу в струны, — ответил Павел. — Чтобы Бог на том конце провода хоть раз подавился своей тишиной.

София опустила руку с куском угля. Посмотрела на него долго, не моргая. В глубине её зрачков зажглись точно такие же злые искры, какие тлели в нем самом. — Ну надо же, — прошептала она с горьким восхищением. — Настоящий псих в сутане. Держи.

Она протянула картон. С листа на Павла смотрел он сам — но без сутаны, весь сотканный из резких рваных линий, с гитарой, занесенной над головой, словно топор, и грозовым небом вместо глаз.

— Красиво, — выдохнул он. — Это не красиво, дурак, — отрезала София, вытирая испачканный лоб тыльной стороной ладони, отчего на коже осталась черная полоса. — Это правда. А правда красивой не бывает. Приходи завтра к фонтану, падре. Я куплю самого дешевого кьянти, будем греться.

Красное платье в ночи

Рим, 1996–1999 годы. Павлу двадцать три — двадцать шесть.

Они сходились медленно, как два диких волка, привыкших ждать удара железом под ребра.

Гуляли по ночному Трастевере, прячась от дождя в подъездах. София смеялась над его неуклюжестью, курила одну за другой крепкие ментоловые сигареты и яростно материлась, когда подол ее красного пальто задевал лужи. Она учила его смотреть: показывала репродукции Караваджо, тыча пальцем в грязные пятки апостолов на картинах. — Смотри, тупица! Он писал святых с трущобных оборванцев и шлюх! Вот она, твоя вера — в грязи под ногтями, а не в золоченых залах твоего начальства!

Павел слушал ее, затаив дыхание. В ее дерзкой, изломанной душе было больше света, чем во всем Ватиканском совете. Но обет жег грудь каленым железом. Он был священником. Инструментом бури. Он не имел права на человеческое тепло.

Развязка наступила в ноябре. Шел проливной ледяной дождь, заливавший мостовые. Они стояли под аркой у того самого фонтана. София прижалась к нему — мокрая насквозь, дрожащая всем телом, пропахшая дождевой водой и табаком. Красное платье липло к телу, обрисовывая реб-

ра. — Забери меня отсюда, Павел, — прошептала она прямо ему в губы, глядя снизу вверх. — Забери. Мне холодно. Я устала от подвалов с крысами. Я хочу спать рядом с тобой. Павел отшатнулся, словно его огрели крестом: — София... нет. Нельзя. Сан. Я дал обет перед алтарем. Если я паду — мой гром замолчит навсегда. Я стану просто лицемером. — Лицемером?! — её голос сорвался на яростный визг, перекрывший шум ливня. Она ударила его кулаком в грудь, прямо в крест под рясой. — Твой Бог сожрал твою мать! Он выбил тебе кости отцовским сапогом! И ты все еще кланяешься Ему?! А я здесь, живая! Из плоти и крови! Я люблю тебя, идиот! Не твою сутану — тебя, переломанного урода с гитарой!

Она развернулась и побежала прочь сквозь водяную стену, алая вспышка платья мелькнула в переулке и растворилась во тьме. Павел упал на колени прямо в лужу, сдирая кожу о брусчатку: — Зачем, Господи?! Зачем Ты шлешь мне любовь, если выход из нее — только предательство?! Небо отозвалось лишь шумом сточных канав.

Она пришла через двое суток. В глухую полночь дверь церковной пристройки со скрипом отворилась.

София стояла на пороге. Без шапки, мокрые пряди липли к побелевшим щекам, под глазами залегли темные круги. Но взгляд был спокойным и беспощадным. — Ты думал, я сдохну в канаве от обиды? — хрипло спросила она, переступая порог. — Не дождешься, падре. Я слишком упрямая. Закры-

вай дверь. И не смей мне врать, что тебе это не нужно.

Павел не ответил. Он шагнул к ней, обхватил ладонями мокрое, ледяное лицо и поцеловал — жадно, отчаянно, ломая губы о ее старый шрам. Обет рухнул без звука, и в эту ночь под сводами маленькой ризницы они любили друг друга не как праведники, а как двое выживших в кораблекрушении, доплывших до одного обломка доски.

Три года они жили тайной, ворованной жизнью.

Днем часовня принадлежала нищим. Ночью комната при алтаре превращалась в их крепость. Они варили густую фасолевую похлебку на спиртовке. София, вся перепачканная мукой, с яростным азартом училась раскатывать тесто для пасты. — Смотри, Павел, какая кривая лепешка! Чистый грех, а не еда! Твои прихожане от такого бы анафеме предали! — Мать делала еще тоньше, — улыбался Павел, глядя на нее из угла, где чистил лады на грифе. — Чтобы растянуть на неделю. — Забудь про неделю, — отрезала она, подходя сзади и обнимая его за шею мучными руками. — Мы живы сегодня. Слышишь? Сейчас.

Она заставляла его писать песни не о смерти, а о жизни. Он играл ей свои надрывные блюзы, а она сидела на полу, обхватив колени, и правила слова: — Не ной про могилы, Павел. Хватит с нас могил. Пой про то, как мы выгрызаем этот мир зубами.

А в начале 1999 года она подошла к нему, взяла его искалеченную руку и молча положила себе на живот. Под гру-

бой тканью красного платья было непривычно тепло и туго. — Ну что, отец Павел... Кажется, в твоем приходе намечается пополнение. Будешь молиться или испугаешься? Павел опустился перед ней на колени, уткнулся лбом в ее живот и впервые за долгие годы заплакал — тихо, светло, без яда и гари. — Я спою ей, София. Клянусь. Я спою так, что небеса треснут от зависти.

Мария родилась в душную августовскую грозу прямо в этой комнате. Больницы боялись — сан Павла держался на волоске, огласка значила бы немедленное лишение прихода и волчий билет. Роды принимала старая повитуха из прихожанок, знавшая цену молчанию. София кричала сквозь зубы, впиваясь ногтями в ладонь Павла до крови, пока за окном гремели римские грозы.

Когда раздался первый, тонкий, требовательный крик младенца, буря за окном стихла. Повитуха завернула девочку в чистое холщовое полотенце и вложила в руки Павла. — Мария... — выдохнул он, глядя на крошечное личико. Девочка открыла глаза. Они были темными, как у матери, но с отчетливыми золотисто-янтарными крапинками в самой глубине зрачка.

София, бледная, обессиленная, слабо улыбнулась уголком рта, тронув пальцем его щеку: — Смотри-ка... Твоя порода, бунтарь. Ни капли кротости. Наш гром родился.

Три года грома и колыбельной

Рим, 1999–2002 годы. Павлу двадцать шесть — двадцать девять.

Это были три года абсолютного, украденного у судьбы рая.

Жизнь шла по двум параллельным руслам. Днем падре Павел был опорой всей трущобной окраины. Он таскал мешки с мукой, варил супы на пятьдесят человек в огромном чане, разнимал пьяные поножовщины во дворах и исповедовал умирающих от передозировок парней прямо на грязных матрасах. По вечерам он выносил колонки на паперть и врубал самодельный ламповый перегруз, собирая сотни панков, металлистов и бродяг. Он орал им псалмы под риффы Black Sabbath, превращая площадь в бушующий океан сорванных глоток.

Но ровно в девять вечера железный засов ризницы закрывался, и мир переворачивался.

Мария росла стрелой. К двум годам она знала каждую трещину на грифе его гитары. У нее были густые темные кудри, вечно сбитые набок, и звонкий, не знающий робости голос. Она носилась по комнате босиком в коротком платьице, перешитом Софией из старого алого подола, волоча за собой деревянную ложку вместо микрофона.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.